

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека.  
А.И. Фет

Комментарии А.В. Гладкого (А.Г.), Л.П. Петровой (Л.П.)

Вторую половину 1990 года А.И. провел в США, где всюду говорили о недавно вышедшей книге Хайека "The Fatal Conceit. The Errors of Socialism." (Пагубная самонадеянность. Заблуждения социализма), 1988. Американцы, считавшие себя консерваторами, восхищались как книгой, так и автором, «глубоким экономистом и философом»; и когда в 1991 году вышло очередное издание книги, они прислали ее А.И.

Хайек удивил его полным забвением биологической природы человека, о которой сам он размышлял уже более четверти века и даже делал попытки изложить свои мысли в статьях. Читая книгу Хайека, А.И. много и горячо говорил о слабости его аргументов, а летом 1996 года предложил прочесть рукопись своей книги «Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека» (в разговоре он называл ее «Анти-Хайек»). В книге был дан блестящий критический разбор основных идей Хайека. При этом выдвигались настолько серьезные и основательные научные аргументы, а идеям Хайека противопоставлялись настолько интересные собственные идеи, что все время возникало сожаление – зачем автор растрчивает силы на полемику с Хайеком, вместо того, чтобы изложить свои идеи в форме научной монографии.

Из текста видно, что, начав с полемики, автор и сам все больше увлекается изложением собственных идей, все реже вспоминает о Хайеке и даже прямо заявляет: «Но мы обязаны продолжить наш анализ, для которого профессор всего лишь предлог». Автору многое нужно сказать, и некоторое время он намеревается сказать это в третьей части. Но в какой-то момент у него пропадает охота полемизировать и, наскоро завершив вторую часть, он бросает «Анти-Хайека» и принимается писать научную монографию «Инстинкт и социальное поведение». Это уже другая книга. «Анти-Хайек» же остается вполне самостоятельным произведением, ярким образцом научной публицистики. Публикуется впервые. (Л.П.)

Предисловие.

В 2005 г. в издательском доме «Сова» вышла книга Абрама Ильича Фета «Инстинкт и социальное поведение». Изложенные в ней идеи об эволюции человеческого общества авторе чтения памфлета Ф.А. Хайека "Пагубное самомнение", удивившего меня полным забвением биологической природы человека. Мои доводы против Хайека казались мне очевидными, но по настоянию покойной Натальи Ильиничны Черновицкой я принялся их записывать. Ей я и обязан появлением предлагаемой книги, где, в конечном счете, я далеко вышел за пределы первоначальной полемики с Ф.А. Хайеком».

Прежде чем выйти за эти пределы, А.И. Фет написал две первые части первоначально задуманной работы, которую он озаглавил «Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека». Цель работы – далее я буду называть ее для краткости «Анти-Хайек» – состояла в том, чтобы изложить главные идеи книги Ф.А. фон Хайека "The Fatal Conceit. The Errors of Socialism" (приблизительный перевод: «Пагубная самонадеянность. Заблуждения социализма») и дать их обстоятельный критический разбор. Эта книга, вышедшая в конце 80-х гг., сразу стала весьма популярной на Западе, а вскоре и в нашей стране, где после многих десятилетий господства системы, официально считавшийся социалистической (на самом деле это был государственный капитализм), наступило время переоценки ценностей. Поэтому разбор ошибок Хайека был – и остается до сих пор – чрезвычайно актуальной задачей.

К решению этой задачи А.И. Фет подошел не как публицист, а как ученый. Ученый обязан быть в научной полемике объективным независимо от своего мнения о целях оппонента, его политических убеждениях и т. п., и автор «Анти-Хайека» неукоснительно придерживается этого правила. Он не ставит под сомнение искренность Хайека, его убежденность в пагубности социалистических идей и благотворности капитализма, особо отмечает его полемический дар. И что особенно важно – подробно останавливается не только на том, в чем Хайек, по его мнению, ошибается, но и на том, в чем он не ошибается.

Не ошибается Хайек прежде всего в том, что западная интеллигенция, которую он хорошо знает, в подавляющем большинстве привержена идеям социализма, и в наибольшей степени это относится к самым выдающимся ее представителям. Убеденными социалистами были Альберт Эйнштейн, «отец молекулярной биологии» Жак Моно, один из крупнейших философов XX столетия Бертран Рассел. Другой крупнейший философ XX столетия Карл Поппер, которого Хайек называл своим другом, боролся против социалистических идей, но вместе с тем был весьма жестким критиком капитализма. А величайший биолог и

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
величайший мыслитель этого столетия Конрад Лоренц, тоже не считавшийся социалистом, ярко и убедительно показал, каким образом прославляемая Хайеком безудержная капиталистическая конкуренция ведет к быстрому генетическому вырождению [См. 4-ю главу его книги «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» – «Бег наперегонки с самим собой» (А.Г.)] .

Столь широкое распространение социалистических идей среди наиболее одаренных и наиболее глубоко мыслящих людей западной культуры не может, разумеется, быть случайным. Хайека этот факт удивляет, он ищет ему объяснений, но все его объяснения, как нетрудно показать, несостоятельны. Автор «Анти-Хайека» предложил свое объяснение, не претендующее, само собой, на статус «истины в последней инстанции»: он хорошо знал, что всякая научная теория есть всего лишь правдоподобная гипотеза, доступная для опровержения (в терминологии Поппера – фальсификации [Такой смысл термина «фальсификация» (появившегося в логической литературе на русском языке сравнительно недавно, но уже прочно в ней укоренившегося) не имеет ничего общего со смыслом слова «фальсификация» в обиходном русском языке – там это приблизительный синоним «подделки» (А.Г.)] и готовая в случае опровержения уступить место другой гипотезе. Знал не только потому, что изучил труды Лоренца и Поппера, настаивавших на такой трактовке теорий, но и по собственному опыту работы в теоретической физике.

По образованию и первоначальному направлению научной деятельности А.И. Фет был математиком; его математические работы получили заслуженное признание уже в конце 40-х и начале 50-х гг. Затем он в сотрудничестве с выдающимся физиком Ю.Б. Румером занялся теоретической физикой, где им были получены значительные результаты, позволившие внести поправки в некоторые общепризнанные теории. Но широта и глубина интеллектуальных интересов и знаний А.И. Фета были для нашей эпохи совершенно необычны. Среди естественных наук, кроме математики и физики, где он был «у себя дома», ему особенно близка была биология. Не менее широки и глубоки были его интересы и знания в гуманитарной сфере, включая не только историю, философию, социологию, психологию, но и художественную литературу, музыку, изобразительное искусство. При этом он был не просто «эрудитом»: мощный интеллект позволял ему выстраивать в единую картину факты и понятия из разных областей, на первый взгляд между собой не связанные. Таким образом, он был превосходно вооружен для решения поставленной задачи: объяснить, почему так сильно у людей стремление к социальной справедливости, получившее в XIX столетии выражение в социалистических учениях, постепенно овладевших умами большинства наиболее просвещенных и наиболее глубоко мыслящих интеллектуалов, и почему даже те из подлинно глубоких мыслителей, которые не разделяют социалистических идей, не одобряют восхваляемого Хайеком капитализма.

Решение, предложенное А.И. Фетом, основывается на гипотезе, которую можно кратко резюмировать так: стремление к социальной справедливости неискоренимо, потому что оно инстинктивно и, значит, заложено в биологической природе человека. В «Анти-Хайеке» излагаются соображения, подкрепляющие эту гипотезу и тем самым выбивающие почву из под ног Хайека и его единомышленников, основывающих все свои рассуждения на априорном допущении, будто понятие социальной справедливости – пустая выдумка Маркса и прочих социалистов. Автор рассказывает, как выражалось стремление к социальной справедливости в проповедях еврейских пророков, в христианской религии, в уставах средневековых ремесленных цехов. За этим следует рассказ о явлении машины и ужасах «дикого» капитализма, о «невидимой руке рынка», открытой Адамом Смитом, о трудовой теории стоимости Давида Рикардо, о возникновении социалистических учений, о теории прибавочной стоимости Маркса. А «по дороге» пришлось рассказать о многом другом. И в какой-то момент автор увидел, что выходит за пределы полемики с модным философом. Тогда он прекратил работу над «Анти-Хайеком» и начал писать другую книгу, в которой дал систематическое изложение своих идей, не привязанное к критике Хайека, – «Инстинкт и социальное поведение». Эту книгу А.И. Фет успел закончить и отредактировать, и ее первое издание вышло в свет в 2005 г. Уже после смерти автора, скончавшегося 30 июля 2007 г. на 83-м году жизни, в том же издательском доме «Сова» вышло второе издание.

Но неоконченный «Анти-Хайек» – блестяще написанное произведение. «Инстинкт и социальное поведение» – чрезвычайно глубокий, богатый оригинальными идеями и довольно большой по объему философский трактат; такая книга не может быть легким чтением. Тем, кто хочет познакомиться с предложенной А.И. Фетом теорией, впервые объяснившей социальное поведение людей с учетом их биологической природы, можно рекомендовать начать с чтения «Анти-Хайека». Эта небольшая книга может служить хорошим введением к фундаментальному трактату «Инстинкт и социальное поведение». Тем, кто не станет штудировать этот трактат, прочесть «Анти-Хайека» тоже будет очень

\*\*\*

Вскоре после того, как Абрам Ильич прервал работу над «Анти-Хайеком», он дал мне прочесть рукопись этой книги, и она привела меня в восторг – и содержанием, и формой. Я написал к ней шесть страниц замечаний, которые мы с А.И. тогда же обсудили. С частью этих замечаний автор согласился, но изменений в рукопись больше не вносил. Тем не менее он о ней помнил и в процессе работы над «Инстинктом» в нее заглядывал, делая пометки и краткие замечания карандашом. Но поскольку автор не редактировал и не готовил к публикации «Анти-Хайека», его необходимо было отредактировать и снабдить примечаниями. При этом важнее всего для редакторов было максимальное сохранение особенностей авторского стиля.

Чтобы читателю легче было ориентироваться в тексте, редакторы разбили его на небольшие разделы, снабдив их заголовками.

\*\*\*

В заключение я хотел бы немного сказать о двух особенно замечательных местах «Анти-Хайека».

Первое из них – раздел II-12, посвященный аналогии между понятиями стоимости и энергии, на которую, возможно, до А.И. Фета никто не обращал внимания. Энергия тела, поднятого над уровнем земли, равна работе, затраченной на его подъем, а эта работа может быть вычислена по простому правилу: нужно умножить массу тела на высоту подъема. Точно так же в трудовой теории стоимости определяется стоимость товара: она равна работе, затраченной на его изготовление. Эта работа согласно той же теории измеряется «общественно необходимым рабочим временем», так что стоимость можно вычислить, умножив количество товара на «общественно необходимое рабочее время». Благодаря этой аналогии трудовая теория стоимости и опирающаяся на нее теория прибавочной стоимости Маркса выглядели научными, что и обеспечило им в эпоху быстрого роста престижа точных наук широкую популярность. Но в действительности это лишь видимость научности, так как «общественно необходимое» для производства товара рабочее время зависит от сложного взаимодействия множества разнообразных факторов, и никто никогда не сумел предложить никакого правила его вычисления. Более адекватный подход к ценообразованию, состоящий в том, что цена товара на свободном рынке определяется не себестоимостью, а платежеспособным спросом, был предложен только в середине XX столетия. Об этом подробно рассказано в другой книге, одним из авторов которой был А.И. Фет [См. книги: Р.Г. Хлебопрос, А.И. Фет «Природа и общество: модели катастроф», Сибирский хронограф, Новосибирск, 1999; Р.Г. Хлебопрос, В.А. Охонин, А.И. Фет «Катастрофы в природе и обществе: математическое моделирование сложных систем», Сова, Новосибирск, 2008; Khlebopros R.G., Okhonin V.A., Fet A.I., Catastrophes in Nature and Society. Mathematical Modelling of Complex Systems., world scientific, 2007.(А.Г.) .]

Второе место – раздел II-21, где излагается главная гипотеза А.И. Фета о специфическом характере, который принял у человека открытый еще Дарвином инстинкт внутривидовой солидарности. Здесь я хочу обратить особое внимание на заявление автора, что он выдвигает эту гипотезу, «никоим образом не претендуя на приоритет, но принимая на себя ответственность за выводы», которые из нее делает. В этой фразе отразились два чрезвычайно привлекательных свойства личности Абрама Ильича Фета, хорошо знакомых всем, кто его близко знал: обостренное чувство ответственности и полное отсутствие заботы о приоритете. Думаю, что и читатели «Анти-Хайека» почувствуют обаяние этой исключительно крупной личности.

А.В. Гладкий

## 1. Введение: с кем полемизирует Хайек в книге о «заблуждениях социализма»

Фридрих Август фон Хайек, австрийский экономист, эмигрировавший в Англию и проживший долгую жизнь, был почти ровесником нашего века и свидетелем катастрофического упадка так называемой западной культуры. Длинный ряд его сочинений, большей частью уже написанных по-английски, сделал его чем-то вроде пророка современного консерватизма – хотя в действительности, как я покажу, он вовсе не консерватор, а доктринер-рационалист. На старости он удостоился сомнительных похвал как «пионер монетаристской теории» и ментор «революций» Рейгана и Тэтчер[1]. Эти определения, вместе с кавычками вокруг «революций», я взял с обложки его книги “The Fatal Conceit”, с подзаголовком “The Errors of Socialism” [Приблизительный перевод: «Пагубная самонадеянность. Заблуждения социализма». Изд. University of Chicago Press, 1991, под редакцией В.В. Бартли III (W.W. Bartly III). Все переводы в этой работе – мои. Conceit означает также: самомнение, чванство, тщеславие. Я слышал, что вышел русский перевод этой книги, но не видел его.], изданной в 1988 году и представляющей, как напечатано на обложке, «блестящее резюме всего его жизненного труда». Так рекомендует книгу вниманию читателя некий Рональд Бейли. На той же обложке некий Питер Ф. Друкер сообщает читателю, что автор – «самый выдающийся социальный философ нашего времени» (“our time’s preeminent social philosopher”).

Профессор Хайек не ограничивался социальными работами по экономике, но всегда активно вмешивался в социальные и политические вопросы; уже в 1935 году под его редакцией вышел сборник, направленный против социализма [Collectivist Economic Planning: Critical Studies of the Possibilities of Socialism. (London: Routledge & Kegan Paul), 1935], а в 1988 году он опубликовал свое последнее обличение этой доктрины. Поистине, это заклятый враг социализма – arch-enemy of socialism, как он сам бы о себе сказал. Что именно Хайек называет социализмом, я дальше объясню. Конечно, честное употребление слов, на котором сам он настаивает в седьмой главе своей книги, не позволяет считать Хайека «консервативным критиком социализма», потому что он вовсе не консерватор, а доктрина, которую он опровергает, вовсе не социализм.

Но я начну не с объяснения, что такое социализм (или, вернее, что понимается под этим словом, поскольку общественный строй, соответствующий этому понятию, никогда и нигде не существовал). Начну с того, как профессор Хайек понимает и объясняет капитализм – реально существующий строй, который он оправдывает и восхваляет, но почему-то под другим именем. Слово «капитализм» ему не нравится, и он отвергает это слово без отчетливого объяснения своих мотивов. Казалось бы, столь радикальное изменение термина, основного для рассматриваемого предмета, должно было иметь серьезные причины; но мы узнаём только, что Хайеку не нравится слишком тесная связь этого термина с «капиталом»[2]. Капиталисты, т. е. люди, обладавшие капиталом, – говорит он, – сыграли важную роль в возникновении нынешнего общественного строя; но капитал – не самое главное в этом строе. Чувствуется, что ему не хотелось бы вызывать ассоциации с денежным мешком; может быть, в юности профессор Хайек, как и его друг Поппер, был не совсем правоверным поклонником этой системы. Да и само слово «капитализм», – напоминает он, – недавнего происхождения. Придумал его немецкий экономист Зомбарт (заметим в скобках: вконец испортивший свою репутацию сотрудничеством с нацистами), а Маркс никогда не употреблял. Да, Маркс не употреблял и, может быть, не знал слова «капитализм», и профессор Хайек тоже не хочет его употреблять. Вместо него (но, по его собственному признанию, с тем же значением) он вводит термин «расширенный порядок» (extended order), имея в виду многочисленность и сложность такого общества по сравнению с древней общиной или племенем.

Далее, профессору Хайеку не нравится и термин «частная собственность» (private property); он заменяет его, без всякого обоснования, выражением “several property”, предложенным еще в XIX веке знаменитым историком права Генри Мейном. Я не справлялся, зачем это выражение понадобилось Мейну. Слово “several” в современном английском языке означает «несколько», но сохраняет и архаический смысл прилагательного, означающего «отдельный, обособленный» – кажется, только в юридических текстах. Во всяком случае, обычные американцы не понимают, что такое several property: я их нарочно об этом спрашивал[3].

Профессор Хайек, в отличие от настоящих консерваторов, вообще любит

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
менять общепринятые названия; он хотел бы даже переименовать свою собственную специальность – экономику – в «каталлактику» (catalactics). Чтобы не вводить в заблуждение моего читателя, я сохраняю, однако, за экономикой и частной собственностью их обычные названия; но поскольку Хайек приписывает капитализму не совсем обычные для него свойства и достоинства, я буду называть описываемую им систему его же термином «расширенный порядок», каждый раз употребляя при этом кавычки. По-русски это звучит еще хуже, чем по-английски.

«Расширенный порядок», т. е. капитализм, профессор Хайек одобряет, отпуская ему все его грехи, и предсказывает ему безоблачное будущее; а «социализм», под которым понимается централизованное планирование и управление экономической жизнью, Хайек решительно осуждает. При таком понимании социализма не надо было быть пророком, чтобы предсказать полный провал экономических систем вроде советской. Все необходимые для этого факты и аргументы высказывались задолго до нашего автора – с не меньшей убедительностью. Если уж говорить о «пионерах монетаризма» и оппонентах социалистических идей, предсказывавших неминуемый провал централизованного управлео Комитета Ассоциации защиты национального труда» (вот с каких пор завелись Центральные Комитеты!) по льготной цене в 1 франк. В «Циркуляре» этой Ассоциации, предваряющем книгу Тьера (от 15 ноября 1848 г.) читаем:

«Ассоциация защиты национального труда, верная своему назначению, без устали боролась с коммунистическими и социалистическими учениями, проявившимися в особенности после февральской революции и подвергающими новой опасности защищенные нами интересы. Таким образом, в газете нашей Ассоциации мы стремимся опровергнуть эти жалкие теории, которые под предлогом организации труда угрожают полностью дезорганизовать предприятия и разрушить все общество, вынудив его опуститься до варварского состояния...

Работа г-на Тьера устраняет все парадоксы, с помощью которых пытаются извратить здравый смысл массы населения: нас особенно интересует приводимое им неопровержимое доказательство того, что производительность труда основывается на праве каждого вполне и свободно распоряжаться той собственностью, какую сумел приобрести. Отсюда и происходит та неусыпная бдительность, то страстное, благотворное усердие и та промышленная предприимчивость, которые создали столько чудес!»

Адольф Тьер был плодовитый, но посредственный историк, сделавший немалую карьеру: он был премьер-министром при монархии, затем президентом республики и «палачом Парижской Коммуны». Части его книжки называются: «О праве собственности», «О коммунизме», «О социализме» и «О налогах», и в ней можно найти все существенные мысли профессора Хайека, кроме украшающей ее современной учености. «Маргинальная теория стоимости», созданная за сто лет до Хайека, в практическом смысле не сказала бы ничего нового г-ну Тьеру: его здравый смысл буржуа никогда не интересовался опровержением «монистических» теорий стоимости, «сложность и непредсказуемость экономической деятельности» была ему ясна задолго до появления все равно не существующей «теории сложных систем», а понятие «информации» Хайек употребляет лишь в качественном, бытовом смысле, известном с незапамятных времен. Посредственный мыслитель Тьер знал все, что нам может сказать профессор Хайек – за полтора столетия до него.

Все это было открытием в XVIII веке, когда Адам Смит понял капиталистический рынок как саморегулирующуюся систему, управляемую движением цен. А в начале XX века совсем уж банальный мыслитель, начинающий политик Уинстон Черчилль выразил свое презрение к идеям лейбористов, заявив, что их представления о планировании экономики «попугай средних способностей может выучить в пятнадцать минут». Он высказал это мнение в 1906 году, когда профессору Хайеку было восемь лет.

Но оказывается, что давно опровергнутый социализм приходится опровергать снова и снова. Кто же поддерживает идеи социализма? Против кого профессор Хайек направляет свою ученость и свой полемический дар?

Можно было бы подумать, что его оппоненты – официальные идеологи все еще существующих «социалистических» государств (или существовавших несколько лет назад). Но таких оппонентов попросту не было: по ту сторону «железного занавеса» можно было услышать лишь хор дрессированных попугаев, повторявших один и тот же выученный урок. А практика «соцстран» вряд ли заслуживала в то время полемических усилий «самого выдающегося социального философа»; достаточно было простой статистики, но в книге Хайека ее как раз и нет. Полемика профессора Хайека адресована совсем другой публике: «прогрессивной» западной интеллигенции.

\*\*\*

Эта интеллигенция, по словам Хайека, в подавляющем большинстве

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

проникнута идеями социализма, и больше всего – ее самые образованные и утонченные группы. В этом Хайек не ошибается: он знает, с какими взглядами и вкусами может встретиться на любом факультете любого университета, в любой западной стране. Более того, чем талантливее интеллигент, чем сильнее в нем творческие способности, тем более он подвержен этой «пагубной самонадеянности», “fatal conceit”. И каких оппонентов видит перед собой профессор Хайек! Он мог бы пренебречь даже талантливыми писателями, вроде Уэллса и Оруэлла: ведь они всего лишь популяризаторы чужих идей. Но, оказывается, все «ведущие» ученые, все инициаторы новых направлений в любой области – сплошь социалисты. Взять хотя бы Жака Моно, которого сам Хайек называет «отцом молекулярной биологии» – он закоренелый, неисправимый социалист. Но есть и более важные ученые, чем Моно, – говорит нам профессор Хайек. Вот Альберт Эйнштейн, безусловно величайший ученый нашего века, и он оказывается социалистом до мозга костей, что и доказывается выписками из его статей. В одной из них, под названием «Почему социализм?», Эйнштейн прямо объявляет свои социалистические убеждения и пытается их обосновать. А вот Бертран Рассел, величайший философ нашего века, – кто же может сомневаться, что он социалист, после всех его книг, посвященных этому предмету? Можно ли удивляться, что все профессора гуманитарных (и не только гуманитарных) наук такие же неисправимые утописты, как Эйнштейн, Рассел и Моно? И какие взгляды могут выработаться у молодежи, воспитанной такими учителями? Поистине, профессор Хайек взвалил на свои плечи непосильное бремя – убедить всю творческую интеллигенцию, и всю следующую за ней обыкновенную интеллигенцию, в своей правоте, обличить их заблуждения – а заодно и объяснить эти заблуждения, которые уже по самой своей вездесущности не могут быть случайны.

То, что профессор Хайек говорит о западной интеллигенции, – это не теоретическая конструкция, а опытный факт: он просто повсюду сталкивался с такими взглядами и вкусами в хорошо известной ему среде, в течение всей своей долгой жизни. Этим и объясняется ожесточенность его критики, доходящей иногда до смешного. Уже в возрасте восьмидесяти лет Хайек пытался вызвать всех социалистов на диспут, рассчитывая победить их в одиночку, одной только силой своего разума. Для человека, столь красноречиво объясняющего ограниченность нашего разума и строящего на этом в значительной мере свои рассуждения, это была поистине великая самонадеянность! Никто из социалистов не принял это предложение всерьез. Как видно, время словесных состязаний прошло, как и время рыцарских турниров; все же в таком донкихотском азарте есть нечто заслуживающее уважения и сострадания. Впрочем, оппоненты профессора, надо полагать, снабдили его достаточным печатным материалом для полемики. Беда в том, что их аргументы – человеческие, слишком человеческие для профессора Хайека. Не обязательно эти аргументы неразумны; напротив, неразумно забывать, что в конечном счете это касается людей, имеющих по крайней мере некоторые биологические свойства. Вопрос о «природе человека» профессор Хайек оставил бы в стороне, объявив, что не понимает смысла этого выражения. Я тоже не вполне его понимаю, но к тому, чего я не понимаю, стараюсь не проявлять чрезмерного высокомерия. По-английски «высокомерие» опять передается тем же словом conceit, так что с этим словом мы не сможем расстаться до конца этой работы.

К сожалению, профессор Хайек предлагает нам совсем не убедительное объяснение присущего интеллигенции социализма. «Общечеловеческие» мотивы такого заблуждения он объясняет подробно, и мы рассмотрим дальше, в чем он неправ и в чем его оппоненты правы. Но есть еще и особый мотив, касающийся профессиональной компетентности ученых, и в этом вопросе нельзя не удивиться, с каким высокомерием профессор предполагает некомпетентность своих оппонентов. Дело в том, что человеческая культура (этот термин гораздо лучше подходит к «расширенному порядку» Хайека, чем «общество» или «государство») – это очень сложная система, принципиально более сложная, чем те системы, которые изучаются в физике. Поэтому профессор Хайек думает, что его оппоненты, проникнутые физическим мышлением, пытаются некритически перенести на человеческую культуру детерминизм единственно доступных им точных наук. Наиболее очевидным адресатом этого упрека является, конечно, Эйнштейн; но я боюсь, что Хайек неправильно понимает упорный детерминизм Эйнштейна, искавшего «причинные» объяснения элементарных физических процессов. Ансамбль физических неотличимых друг от друга частиц, к которому относятся предсказания квантовой механики, очень мало похож на человеческое общество. Это и вправду «сложная система», но в ней нет того разнообразия и независимости составляющих элементов, которые Хайек справедливо усматривает в своем человеческом «порядке». Если уж искать такие системы в физике, то следовало бы рассмотреть, например, твердое тело, для которого ни один физик не станет искать детальное детерминистское объяснение. Но не будем

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) забегать вперед: «случай и необходимость» (по выражению Моно) еще будет предметом нашего рассмотрения. Здесь я хотел бы только обратить внимание на необычайную широту интересов Эйнштейна, включавших также экономику и общественную жизнь. Суждения об этих предметах, высказанные Эйнштейном в его многочисленных статьях «гуманитарного» содержания и в переписке его с другом Бессо, совершенно исключают теоретическую наивность, которую приписывает ему профессор Хайек. Эйнштейн отлично понимал специфический характер «сложных систем». Его «утопизм» не обязательно объясняется незнанием непреодолимых препятствий; я буду еще иметь случай вернуться к «утопиям» этого великого реалиста.

Рассел тоже не во всем был наивен, особенно в гносеологии, которой занимался всю жизнь. Его работы по гуманитарным вопросам дают обильный материал для суждения, понимал ли он специфику «сложных систем». И уж конечно, в непонимании ее никак нельзя обвинить биолога Моно. Мне кажется, аргумент о наивном непонимании (может быть, справедливый в применении ко многим другим ученым) как раз в этих случаях неприменим.

Наконец, нельзя не упомянуть еще одного, не названного Хайеком оппонента: это величайший биолог нашего века Конрад Лоренц, несравненный знаток «сложных систем» и исследователь человеческих культур. Почему же профессор Хайек не упоминает Лоренца – даже в обширной библиографии своей книги? Он должен был хорошо знать Лоренца до его внимания, это непростительный промах[4]. Книга эта содержит понимание человеческой культуры, по сравнению с которым «расширенный порядок» профессора Хайека выглядит детской игрой. Поняв, что такое культура, он не мог бы свести ее к игре рыночных цен, обеспечивающей всего лишь выживание наибольшего числа особей. Он подумал бы, что продуктом эволюции является не только рынок, но и сам исследователь рынка Адам Смит. Но, может быть, профессор Хайек пренебрег Лоренцем, не усматривая в нем оппонента? Ведь Лоренц не имеет репутации «социалиста»; согласно классификации журналистов, он скорее «консерватор». Мы надеемся внести ясность в этот вопрос.

\*\*\*

Упорное сохранение социализма в умах западной интеллигенции выглядит, на первый взгляд, чем-то парадоксальным. Может показаться, что социализм давно уже вышел из моды. Политические системы, претендовавшие на «строительство социализма», уже погибли или находятся при последнем издыхании. На Западе, где возникло самое понятие социализма и дольше сохранялось его первоначальное содержание, к нему потеряли интерес те, кого он должен был осчастливить: пролетарии превратились в буржуа. Лишь слабый отзвук социализма сохранился в политике так называемых социалистических партий, давно уже утративших свой «рабочий» характер. В общем, на Западе одержала верх буржуазная культура или, по выражению Герцена, возобладали «мещанство». Насколько еще сохранился рабочий в старом смысле, то есть стоящий у станка, он во всем остальном такой же буржуа, как все получающие регулярный доход: это и есть «средний класс», вполне безразличный к идеям социализма, да и ко всем идеям вообще.

Но идеи социализма создал не рабочий, а интеллигент. Они могли на какое-то время увлечь рабочего, пока он еще не превратился в буржуа, но рабочий может превратиться в буржуа, а интеллигент – не может. Для рабочего – если он только рабочий – мышление не является органической потребностью, и точно так же для его собрата с «белым воротничком», выполняющего какой-нибудь «сервис».

Отбыв свою дневную службу, этот современный рабочий не читает и не думает: он отдыхает, сидя перед экраном телевизора и потягивая какой-нибудь напиток. Социализм не может предложить ему ничего лучшего: помните ли вы гимн обитателей Скотного двора? Ветряная мельница уже построена, и каждому отведено его стойло.

«Трудящийся», живущий такой жизнью, уже не человек. В нем нет уже особых страстей и надежд, отличающих человека от всех животных. Поэтому он не представляет интереса для «искателей социализма». Некоторые из них пытались найти нужный им материал в общественных низах, среди неудачливых, порочных и просто преступных. Там человек еще способен на недолгий порыв. Но подлинным носителем извечного недовольства – следовательно, извечным «искателем социализма» – является только интеллигент. Психологической проекцией его искания и был так называемый «сознательный пролетарий». В прошлом веке! Теперь ему не на кого свалить свое дело.

Для того, чтобы могла существовать интеллигенция, нужно не так уж много настоящих интеллигентов. «Чтобы свершился величайший труд, достаточен один дух на тысячу рук» (Гёте). Рыцарство не могло бы сохраниться, если бы не было странствующих рыцарей, искавших Святой Грааль. Не могла бы сохраниться

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
религия, если бы не было аскетов в монастырях, искавших мистические прозрения. Что же – все это были социалисты? Нет, это были их предтечи. Фараоны, инки и прочие рабовладельцы не были предшественниками социализма: у них не было идеала, и им нечего было искать. Удивительным образом один из наших современников усматривает начала социализма там, где был идеальный консерватизм. Но к определению социализма мы еще вернемся.

Сколько бы ни было «довольных» интеллигентов, нашедших свое место, всегда должно быть небольшое число «недовольных». Иначе не будет никакого прогресса, и общество превратится в стоячее болото. Дело здесь не в выборе модели: «стационарное» общество долго не проживет, оно1/р начинает гнить. Если в нем есть механизмы, предотвращающие разложение, то нужны механизмы, охраняющие эти механизмы, и т. д.; и уже получается прогресс. Стагнирующее общество уничтожает «внешний враг»: если не степные кочевники, то СПИД. Стало быть, для сохранения западной культуры нужен прогресс – иначе она погибнет, как погибли все высокие культуры до нее. И, конечно, мы этого не хотим.

Недовольные интеллигенты должны иметь свою субкультуру, достаточно независимую от внешнего контроля. Следовательно, не должно быть регламентации их мышления и, в широких пределах, даже их образа жизни. Конечно, недовольство не может быть их единственным признаком: тривиальное недовольство сводится к неврозу. Творческое же недовольство проявляется в творческих достижениях. Так и отбираются подлинные интеллигенты. «Довольные» при этом всегда отпадают: у них нет стимула долго и трудно искать. Так возникает прослойка, которую можно назвать «интеллигентской элитой». Эмпирический факт состоит в том, что без нее невозможен настоящая университетская жизнь, а без университетов – невозможен прогресс.

Итак, из стремления общества к самосохранению вытекает необходимость прогресса и, тем самым, необходимость воспитания и сохранения интеллигентской элиты. А так как технический (и, следовательно, научный) прогресс, если не всякий другой, во всяком случае в интересах промышленников и торговцев, то возникает рынок творческих способностей – довольно узкий рынок с достаточно выгодными продажными ценами для тех, у кого они есть. Но «недовольство» редко относится только к единственной, например, к профессиональной деятельности интеллигента, особенно в гуманитарной сфере. Как правило, подлинно одаренный ученый одарен в различных областях – да и не только ученый. Часто ему удается подарить в себе «непрофессиональные» способности, но очень часто не удается; и как раз о таких случаях рассказывает нам профессор Хайек. Да и сам он из профессора экономики стал странствующим рыцарем, преследующим призрак социализма. Его недовольство было направлено против более одаренных коллег, которых он преследовал за их «социализм».

В более серьезных случаях недовольство подлинного интеллигента направляется против пороков общества, где он живет. Обычно еще в ранней молодости такой индивид присоединяется к некоторой «молодой группе старой культуры», как это описал Лоренц. Возникновение таких групп, создание их «лозунгов» и «идеологий» является именно функцией «недовольных интеллигентов». Идеологии «прогрессивных» групп, как мы увидим в дальнейшем, неизбежно «утопичны», то есть не поддаются рациональному обоснованию, а определяются глобальными ценностями культуры. Ясно, что функция «создания утопий» больше всего выпадает на долю тех недовольных интеллигентов, самая специальность которых связана с человеческими проблемами, т. е. гуманитарных ученых, писателей и художников. Они предлагают на рынке способностей не прямо свое «общественно необходимое» недовольство, а просто более высокие специальные способности, всегда (или очень часто) коррелированные с укорененным в их подсознании недовольством.

Если политический режим подавляет все формы такого недовольства, то в нем не вырастает интеллигентская элита и, следовательно, невозможен прогресс. Так обстояло дело в «соцстранах», и это было одной из главных причин их «застоя». В некоторой степени подавление недовольства происходит и в развитых обществах западного типа, т. е. «обществах массового потребления», где давление усредненного общественного мнения и принятых стандартов жизни стремится устранить все выдающееся и необычное. Это делается, как правило, с помощью экономических, а не физических способов принуждения: талантливому человеку, думающему и живущему «не так, как все», угрожает относительная бедность. Но если физическая униформизация мышления – путем уничтожения инакомыслящих – может быть почти эффективной, то экономическая униформизация только усиливает недовольство интеллигента, развивая в нем «комплекс мученичества» и гордость приносимыми жертвами. Представление о том, что верность своим убеждениям оплачивается неизбежными жертвами, глубоко коренится в западной культурной традиции.

Из предыдущего описания ясно, почему политический (и всякий иной)



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

радикализм неотделим от самых выдающихся способностей. Эйнштейн мог заниматься своей физикой, не вмешиваясь в общественные дела, но тогда бы он не был Эйнштейном. Рассел мог всю жизнь рассуждать о гносеологии, не подвергая себя неприятностям газетной полемики и санкциям университетских властей, но тогда он не был бы Расселом. Даже если ученому удастся подавить в себе все «слишком человеческое» (как это, может быть, удалось Ньютону и Дарвину), он создает самой своей работой мощное возмущение общественного мнения и революцию в человеческом мышлении – ньютонизм или дарвинизм. Впрочем, даже Ньютон не мог удержаться от еретических религиозных идей, и для своего времени был достаточно выраженным вигом, как и его друг Локк; а Дарвин не мог удержаться от публикации своих идей о происхождении человека. Когда Дарвин пришел к идее об эволюции видов путем естественного отбора, он записал в своем дневнике: «Я ощутил себя убийцей». Дневник его, слишком отражавший мучившие его сомнения и разрешение этих сомнений, в течение долгих десятилетий печатался с купюрами, сделанными его женой. Гений всегда коррелирован с фундаментальным беспокойством. Как я уже сказал, общество «демократического» типа применяет к недовольным интеллигентам относительно мягкие, преимущественно экономические санкции; тем самым, такое общество не совсем закрывает для себя возможность прогресса.

Полагаю, что я объяснил непостижимую для профессора Хайека склонность интеллигенции к социализму – и особенно самой одаренной, творческой интеллигенции. Эта склонность может уменьшиться лишь вместе с общим упадком интеллектуальной культуры, что и происходит в последнее время на Западе. Но, конечно, «прогрессивное» настроение университетской интеллигенции объясняется уже – вторично – способом образования в этом слое стандартов поведения и чувствования, то есть не только индивидуальной психологией, но и социальной. Дело в том, что в западном обществе существует «спрос на гуманитарную культуру», поддерживающий огромное число по-видимому ненужных ему факультетов и специальностей, и тем самым содействующий сохранению и воспроизводству гуманитарных профессий. Это социальное явление – в отличие от индивидуального психического свойства очень способных людей – нуждается в особом объяснении.

Зачем же, в самом деле, современному западному капитализму («расширенному порядку» профессора Хайека) нужны гуманитарные специальности? Начнем с того, что некоторые из них имеют для капитализма прямую практическую ценность. Вспомним, что экономика и право считаются гуманитарными специальностями, и если даже их преподают на особых отделениях, то издавна принято обучать будущих юристов и экономистов целому ряду гуманитарных предметов. Конечно, такая традиция в наше время кажется архаической. Теперь, может быть, было бы естественнее учить молодых людей конкретному бизнесу, как это делается в школах менеджмента, а не старомодным экономическим теориям, которыми так поглощен сам профессор Хайек. Но экономические решения, принимаемые правительством и частными компаниями, затрагивают людей с исторически сложившимися вкусами, производственными навыками и образом жизни. Принято думать поэтому, что хороший экономист должен обладать определенными познаниями в истории, психологии, праве и текущей политике. Еще больше все это относится к юристу. Правовая система, сложившаяся в течение столетий, по самой своей природе архаична и очень медленно приспосабливается к требованиям рынка; напротив, рынок должен зачастую приспосабливаться к законам. Законы эти, особенно в англо-саксонских странах, могут быть очень старого происхождения и зависят от местных условий (например, в Америке от своих в каждом штате). Обычаи, от которых зависит законодательная и судебная практика, также очень связаны с традицией. Далее, отношения с другими странами, в том числе находящимися на «низших» ступенях развития и принадлежащими к другим культурам, требуют различных гуманитарных знаний, например, знания истории и языков.

Следовательно, «расширенный порядок» нуждается в преподавании – и даже в некоторой степени в научной разработке – истории, филологии, психологии, социологии и даже философии, без которой все эти предметы, как предполагается, не могут обойтись. Но дело не сводится к обслуживанию будущих экономистов и юристов. Традиция требует, чтобы дети уважаемых (и уважающих себя) граждан, т. е. дети из среднего класса, получали некоторое образование. В нынешних условиях это может быть всего лишь диплом об окончании колледжа, но какой-то диплом входит в понятие респектабельности современного буржуа. Может случиться, что детям этого буржуа диплом по существу и не нужен – для того бизнеса, который они унаследуют от отца; но традиция требует, чтобы им были куплены какие-нибудь дипломы, следовательно, существует рынок дипломов и дипломная промышленность. Особую категорию составляют дочери, которые вовсе не пойдут в бизнес, а попросту выйдут замуж. Опять-таки, традиция требует, чтобы жена буржуа имела

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) какой-нибудь диплом: то, чему ее учили в колледже, поможет ей поддерживать приличные застольные разговоры. В том случае, когда диплом требуется для респектабельности и не предполагает серьезного углубления в будущую специальность, желательно, чтобы диплом доставался без особого труда. Но, по мнению нынешних буржуа, точные науки и техника очень трудны. Недаром в Соединенных Штатах около половины преподавателей и учащихся в этих специальностях – не коренные американцы, а эмигранты из «слаборазвитых» стран. Легко достаются гуманитарные дипломы, где не надо особенно думать, а требуется, как полагают, лишь некоторая память.

Теми же соображениями руководствуются будущие чиновники, ориентированные на службу в государственных или частных офисах. Как известно, бюрократы судят о человеке по его формальной квалификации, и чиновник должен иметь какой-нибудь – чаще гуманитарный – диплом. Я описал, таким образом, рынок гуманитарного образования, поддерживающий, например, в Соединенных Штатах больше половины преподавателей шестисот университетов и колледжей.

Разумеется, факультеты и отделения, поставляющие на этот рынок гуманитарное образование, должны придавать ему, хотя бы внешне, качества, требуемые традицией. Да и сами они следуют традиции, постепенно приспособляющейся к медленной эволюции рыночных требований, и вовсе не заинтересованы в коренной ломке своих привычек и вкусов. Университеты, с очень влиятельной в них гуманитарной частью, образуют сложившийся «истеблишмент», бюрократический аппарат, стремящийся не только сохранить свои доходы, но и поддержать свою «особенность», независимость от других аппаратов, например, от менеджмента или от государства. Как всякая субкультура, университетская субкультура подчеркивает свои отличительные признаки, даже некоторую враждебность чужеродным культурным признакам. Для этой цели как нельзя более подходят традиционные для университетской науки принципы «академической свободы» и «либерализма». Фрондирование свободомыслием, заигрывание с радикальными идеями – это и есть защитные одежды университетской субкультуры, необходимые для ее самосохранения. Профессор университета не хочет быть похожим на бизнесмена, потому что его способности и склонности побудили его предпочесть другой заработок и образ жизни; но тогда, по общим законам формирования и воспроизводства культур, этот профессор должен презирать бизнес, хотя бы на словах, но чаще всего и подсознательно – если он усваивает такую позицию смолоду. Большинство этих профессоров не так уж глубоко радикально, и вряд ли способны на серьезные жертвы ради своих убеждений. Но время от времени под защитой «академической свободы» вырастают и подлинные искатели истины. И, конечно, источником всей «университетской» идеологии оказывается интеллигентская элита, о которой уже была речь. Она производит идеи, необходимые для поддержания всей субкультуры; а более обыкновенные интеллигенты всегда увлечены (*fascinated*) взглядами гениев и героев.

Когда профессор Хайек удивляется, почему интеллигентов неудержимо привлекают идеи социализма, он все время ссылается на разрушительный характер этих идей, подрывающих «расширенный порядок», в котором только и могут существовать такие люди. Но развитие «социализма» в университетской среде, пока и поскольку оно чуждо настроениям среднего класса и «рабочих», для капитализма вовсе не опасно. Студенческие волнения 60-х годов слегка напугали американских дельцов, но очень скоро выяснилось, что за ними не стоит серьезное социальное движение. «Левые» студенты со временем регулярно превращаются в «правых» предпринимателей или служащих, вот и все. В американских философских журналах около трети места посвящается социализму и марксизму. Это побудило меня расспросить, как устроен американский философский бизнес; однажды я целую ночь говорил об этом с современным американцем и совершенно успокоился на этот счет. Иное дело – радикализм подлинной элиты. Его влияние на общество, через университетскую среду или помимо нее, нельзя заранее предсказать.

## 2. Истоки морали; невозможное и возможное в человеческой истории

Через всю книгу Хайека красной нитью проходит противопоставление «расширенного порядка», с его формальными, абстрактными по отношению к конкретному индивиду правилами поведения, более раннему порядку в малых человеческих группах, где все люди знали друг друга и относились друг к

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) другу как к живым, конкретным человеческим существам. Хайек чувствует, что «моральные правила» в «расширенном порядке», то есть при капитализме, некоторым образом бесчеловечны по сравнению с поведением в малой группе, где и возникло человеческое поведение. Его главная задача и состоит в том, чтобы оправдать бесчеловечность «расширенной» морали, доказать ее неизбежность и благотворность.

Мы должны поэтому начать с выяснения, в каких группах вообще возникло человеческое поведение, и как оно приобрело черты человечности или, по выражению Конта, «альтруизма». В попытках определить эти группы проявляется характерная для Хайека беспомощность мышления – как и во всех случаях, когда ему приходится отходить от своей излюбленной темы о преимуществах рыночного хозяйства. Из путаных объяснений автора видно, что он думал о таких группах, как «семья», как «небольшая кочевая орда» (по-видимому, племя), или как малое государство, вроде греческого полиса. Но эти группы совершенно различны по своей природе. Греческий полис был уже очень сложным обществом, с весьма разработанным законодательством и развитым денежным хозяйством. Может быть, Аристотель и в самом деле предпочитал такое государство, где все граждане могут слышать одного и того же глашатая, но от него же мы узнаем о государственном строе Афин, где точность и «абстрактность» правил поведения мало чем уступали нормам современного общества – для которого они и послужили образцом. Ссылка на греческие полисы имела бы смысл разве лишь в применении к архаическим племенным союзам времен ахейского и дорийского завоевания, но есть все основания полагать, что и там мы не обнаружили бы источников непосредственной любви к ближним, столь неприемлемой для профессора Хайека.

С другой стороны, семья – гораздо более древнее общественное устройство – все же намного моложе тех групп, где возникла «человечность». Конечно, непосредственное отношение к ближним проще всего увидеть в семье, но возникло оно гораздо раньше семьи, в первоначальной, еще не человеческой группе наших предков, которая впоследствии превратилась в племя. Непонятно, почему Хайек употребляет вместо слова «племя» (tribe) другое слово (band), означающее «отряд» или «шайка». Во всяком случае, он, по-видимому, отдает себе отчет в том, что «альтруистическое» отношение к людям возникло в малой группе вроде племени, наблюдается в малых группах близко знающих друг друга людей, и с трудом переносится на поведение в больших, сложно устроенных человеческих сообществах. Для самого существования «расширенного порядка» такие «моральные правила» совершенно необходимы. Профессор Хайек тщательно обходит содержание этих правил, но, конечно, они должны защищать собственность, лежащую в основе «расширенного порядка». На языке десяти заповедей это значит: «не укради». Но если важнейшей целью человеческого общества является свобода – а профессор без устали напоминает нам, что собственностью является необходимой предпосылкой личной свободы, – то, конечно, подразумеваются и другие гарантии этой свободы, прежде всего – правило «не убий», без которого неприкосновенность собственности не имела бы смысла. По-видимому, «моральные правила», на которых держится «расширенный порядок», – это те же десять заповедей, хотя насчет «жены ближнего» может возникнуть некоторое сомнение: как мы увидим, в одном месте профессор Хайек признает необходимость каких-то послаблений в сексуальной морали. По-видимому, он не так уж уверен, что ветхозаветный запрет «не пожелай жены ближнего» необходим в его «расширенном порядке», или может быть в современных условиях навязан; но что касается «добра его и осла его», то здесь профессор должен быть непреклонным. Такой избирательный консерватизм очень странен: тот, кто не придает значения святости семьи, вряд ли станет благоговеть перед святостью собственности.

Я не случайно употребил здесь слово «благоговеть». Если бы профессор Хайек потрудился прочесть книгу своего соотечественника и ровесника Конрада Лоренца [5], он лучше понимал бы характер тех «моральных правил», без которых не может существовать никакое организованное общество и которые коренятся в биологической природе человека – в системе его инстинктивных мотиваций. Эти правила вовсе не похожи на правила уличного движения, или на инструкции по эксплуатации какой-нибудь машины. Они не похожи также на «правила игры» – любой игры, от футбола до шахмат – хотя в книге Хайека есть прямая отсылка к Ното Ludens и складывается впечатление, что для него «моральные правила» и в самом деле сводятся к правилам некоторой сложной игры, почему-то принятой миллиардами ее невольных участников [6]. Впрочем, Хайек не думает, что эти правила были приняты, или принимаются ныне, по добровольному соглашению, потому что они полезны для общества в целом. Нет, Хайек решительно возражает против такого «рационального» толкования «моральных правил», ополчаясь против Гоббса и Руссо. Он признает, что эти правила передаются по традиции, хотя роль традиции у него остается на заднем плане: он как будто не понимает, что традиция – это всегда традиция

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

некоторой культуры. «Расширенный порядок» оказывается лишь экономической стороной жизни западной культуры, важной, но отнюдь не исчерпывающей эту культуру. И как раз «моральные правила» вовсе не определяются экономикой, хотя и связаны с ней сложными зависимостями. Эти правила унаследованы от предков и – как выражается сам Хайек – занимают промежуточное место «между инстинктом и разумом»; сам Хайек отчетливо сознает, что в прошлом, да и сейчас, «моральные правила» были тесно связаны с религией. Именно религия осуществила глобализацию моральных правил, распространив их с одного племени на все человечество, и самым отчетливым образом это сделала христианская религия, унаследовавшая идеалы еврейских пророков. Евангельский рассказ о самаритянке свидетельствует о том, что уже сам Иисус сделал первые шаги в этом направлении, расширив понятие «ближнего» до всякого человека, не обязательно соплеменника; а Павел из Тарса завершил этот исторический переворот, заявив, что для Христа нет «ни эллина, ни иудея». Впрочем, применение «моральных правил» ко всем соплеменникам в этом смысле – это значит, к нескольким миллионам человек, исповадовавшим еврейскую религию и говорившим на еврейском языке – уже было результатом многовекового процесса глобализации морали, потому что вначале были, в самом деле, сообщества в несколько десятков или несколько сот человек, состоявших в кровном родстве и знавших друг друга. Такое представление неизбежно вытекает из наблюдений за приматами, в естественных группах которых можно уже видеть зачатки всех десяти заповедей, в самом деле служивших сохранению вида – и служащих до сих пор.

Процесс глобализации морали существенно изменил отношение человека к его «ближнему», сделав это отношение не столь непосредственным. Это понимает, конечно, профессор Хайек, противопоставляя «правила» при капитализме правилам, действующим в семье, в кругу друзей и знакомых, или действовавшим некогда в небольшой общине. Поскольку «мораль» первоначально сложилась в такой общине, ее инстинктивный, генетически наследуемый механизм ограничен в своих возможностях: человек способен к непосредственной эмоциональной связи лишь с несколькими десятками людей, как это и происходило в традиционной крестьянской общине. В многочисленном, сложном обществе связи между людьми, как справедливо замечает Хайек, не могут быть столь непосредственными и эмоциональными. Но Хайек не интересуется процессом, создавшим этот «расширенный порядок», и не объясняет, каким образом в таком обществе вообще могут существовать какие бы то ни было «моральные правила». Между тем, объяснение можно найти в истории культуры, описывающей не только становление великих религий, но и возникновение обычаев и законов, усваиваемых вместе с религией в раннем детстве и внедряемых в «подсознательную совесть» ребенка. Основные ценности культуры, в которой воспитывается человек, передаются ему, по-видимому, в возрасте до 5–6 лет и запечатлеваются в его подсознании с помощью совсем не рационального, но и не «инстинктивного» процесса – как раз, как этого требует профессор Хайек. Это обучение не может быть рациональным не только потому, что маленький ребенок не понимает сложных рассуждений, но прежде всего по той причине, что сами ценности культуры являются продуктом ее эволюции, возникшими в борьбе за выживание этой культуры, а вовсе не открыты человеческим разумом; их и нельзя «доказать» никакими рассуждениями. Далее, основные ценности культуры не являются также «инстинктивными», то есть их содержание не запрограммировано в геноме человека. Но у человека, в отличие от всех других живых существ, имеются два совместно действующих механизма наследственности – генетический и культурный. Генетически детерминируется лишь самый общий ход обучения и его физиологическая возможность; но содержание обучения передается не генетической, а культурной наследственностью, то есть традицией той или иной культуры.

Можно с уверенностью предполагать, что «правила морали», первоначально содействовавшие сохранению малых групп и, соответственно этому, выработанные эволюцией вида, с возможным участием «группового отбора», впоследствии легли в основу «глобальной» морали. Эволюция никогда не отказывается от своих изобретений, а пытается приспособить их к изменившейся обстановке. Правила отношения к «ближнему», оправдавшие себя в малой группе, должны были так или иначе распространиться на «большую группу (число)»; вспомните десять заповедей. Там, где уже не действовали непосредственные эмоциональные реакции, должны были действовать глобальные запреты. Самый всеобщий характер этих запретов предполагает их простоту и безусловность: ведь они должны были внушаться маленькому ребенку. Эволюция нашего вида выработала такие запреты и создала «ответственную мораль». Как всегда, эволюция создает вначале простой и общий механизм, а затем уже корректирующие его вторичные механизмы. Действие таких вторичных механизмов легче модифицируется или снимается, чем действие первичного: к заповеди «не

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
убий» подразумевалась, конечно, поправка: «члена такого-то племени», и эту поправку с великим трудом удалось снять (в истории нашей культуры); но самую заповедь, простое «не убий» искоренить намного труднее, может быть, вообще нельзя. Первичные запреты необычайно упорны. Они принимают вид не подлежащих обсуждению «табу», и профессор Хайек с удовольствием повторяет это дикое слово. Лоренц описывает первичные ценности культуры, внушаемые в детстве, латинским словом *tremendum* – то, что внушает трепет. Если можно позволить себе такую вольность речи, эволюция «хорошо знала, что делала», вырабатывая у человека эти страшные, вызывающие трепет племенные табу: уже в пределах племени их соблюдение трудно было внушить; и впоследствии, при глобализации морали, именно сила этих страшных табу позволила нашему виду выжить, создав нечто вроде общечеловеческой этики. Конечно, в процессе переноса на «чужих» людей табу неизбежно должны были ослабеть.

Опыт XX века, казалось бы, убедительно доказывает, как необходима ответственная мораль, не знающая национальных и государственных границ. Более того, мы с ужасом наблюдаем, как быстро ослабевает эта мораль, когда подрываются духовные основы культуры. Читатель извинит мне это старомодное выражение: профессор Хайек, без сомнения, возразил бы, что не понимает его смысла. Я хотел сказать: когда подрывается религиозная основа морали и на место ее не приходит никакая другая система ценностей, сохраняющая культуру. При чтении книги Хайека складывается впечатление, что он отдает себе отчет в необходимости чего-то вроде религии, хотя и признает себя неверующим. Но, в общем, его занимает почти исключительно рыночное хозяйство. Правила игры, делающие возможным этот великолепный «расширенный порядок», он некоторым образом принимает в готовом виде и не обсуждает. Можно подумать, что унаследованные от предков правила, хотя и не вызывающие больше священного трепета, по инерции продолжают действовать и будут действовать сколь угодно долго, потому что люди убедились в их полезности для выживания наибольшего числа особей. Как будто правила, располагаемые автором где-то между инстинктом и разумом, стали восприниматься чисто прагматически и сохраняются уже на разумных основаниях.

Но самое представление о «табу», к которому неоднократно обращается и сам Хайек, противоречит такому прагматическому вырождению. Либо табу есть, либо его нет; и если исчезает трепет перед нарушением табу, то его больше нет. Думаю, с этим согласится любой этнограф, знающий, что такое табу. Это совсем не то, что надпись на автомобильной стоянке, угрожающая нарушителю штрафом. В основе христианской культуры были два фундаментальных запрета – запрет убийства и запрет прелюбодеяния. Второй из них уже давно не принимается всерьез, а первый едва держится. Детективы и телевидение эксплуатируют остатки интереса к этому вопросу, просвещая публику, как совершить безнаказанное убийство или поучительно заверяя, что иногда убийство все же наказывается. Здесь проходит последняя линия обороны погибающей культуры. Но профессор Хайек не понимает, в какое апокалипсическое время мы живем: его глаза с надеждой устремлены на рынок. Его оптимизм предполагает автоматическое соблюдение правил торговли – вроде тех, какие можно видеть при входе на базар.

Более серьезный оптимизм можно основать как раз на тех непосредственных, инстинктивно запрограммированных эмоциях, которые связывают нас со знакомыми собратьями по виду: ведь именно эти эмоции, глобализованные в ответственную мораль, делают нас людьми. По сравнению с этой коренной основой всех человеческих культур все технические средства той или иной частной культуры второстепенны – в том числе денежный механизм, играющий столь двусмысленную роль в западной цивилизации. Можно представить себе процветающее общество без денег (хотя для этого требуется некоторое воображение), но нельзя представить себе общество без свойственных человеку общественных инстинктов. Подлинный оптимизм может основываться как раз на этих инстинктах, лучшая глобализация которых представляет задачу будущих поколений. Из них происходят те идеалы, непрактичность которых в современном мире породила презрительное обозначение «утопизм». Утопия – это место, которого нет. Мы живем в мире, где этого нет, и заключаем отсюда, что этого не может быть; а профессор Хайек воображает, будто доказал, что это невозможно. Но мы еще вернемся к тому, что он в действительности доказал.

В нашей культуре глубоко запечатлено то инстинктивное отношение к близким людям, которое называется «любовью к ближним». Оно парадоксальным образом сталкивается с практической моралью окружающего общества, навязываемой нам его «расширенным порядком», и большинство людей, не заботясь об этом парадоксе, спокойно следует общепринятым шаблонам существования. Но как раз самые одаренные люди обычно одарены не только в одной специальной области, но во многих сразу. Надо ли приводить примеры? Получилось так, что Планк в конце концов не стал пианистом, а Эйнштейн

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
скрипачом; что Фарадей не стал религиозным проповедником, Дарвин не посвятил себя теологии (как это сделал в конечном счете Паскаль), Галуа не стал революционером (но был убит на дуэли из-за политического спора). Был великий математик Грассман, и он же был великий санскритолог, причем о каждой из его специальностей не знали представители другой. Майер и Гельмгольц были врачи, Бородин был профессор химии. Я знаю гениальную художницу, окончившую физический факультет, но я раньше думал, что ей следует заниматься математикой: в свободное время она до сих пор решает трудные задачи. Талантливые люди почти всегда разносторонни и не боятся противоречий; помните удивительную формулу Пушкина: «...гений – парадоксов друг»? Парадокс несправедливости жизни отпугивает посредственных людей, всегда готовых пожертвовать истиной ради удобства; но подлинно талантливый человек страстно борется с этим парадоксом, выражая свое недовольство сложившимся общественным строем и пытаясь найти выход из его противоречий. Профессор Хайек удивляется радикализму (или просто социализму) выдающихся ученых. Ученые, доводящие свои мысли до логического завершения, лишь выражают недовольство в форме доктрины; но если посмотреть на писателей и людей искусства, то у самых талантливых из них недовольство общественным строем принимает форму бурного негодования. Микеланджело и Гойя разоблачили все человеческие пороки, Бальзак, Диккенс и Теккерей – все человеческие учреждения, а Бетховен был прямо революционер, и если музыка может передавать политические убеждения, он был еще и социалист. На самых вершинах мировой литературы мы встречаем Утопию. Когда меня спросили, был ли оптимизм в литературе, я вспомнил Одиссея в царстве феакийцев и «Бурю», где впервые появился Прекрасный Новый Мир. Да, если бы профессор Хайек не был так погружен в свой монетаризм, он мог бы расширить список своих оппонентов: социалистами оказались бы Гомер и Шекспир!

Отношение между Реальностью и Утопией намного сложнее, чем думает профессор Хайек: невозможное в человеческой истории всегда опережает возможное – а впоследствии каким-нибудь образом оказывается возможным. Оппоненты Дедала, минойские реалисты, доказывали, что летательный аппарат тяжелее воздуха невозможен; но Дедал построил такой аппарат и успешно на нем улетел, а сын его разбился лишь потому, что пытался, опередив свое время, совершить космический полет.

В середине прошлого века философ Огюст Конт утверждал, что люди никогда не узнают, из чего состоят звезды. Через несколько лет Кирхгоф и Бунзен узнали это, применив спектроскоп. Я читал книгу, изданную в Германии в 1934 году, где математически доказывалась невозможность космических ракет. И в самом деле, до высадки на Луне оставалось более тридцати лет. В 1935 году отец атомной физики Резерфорд утверждал, что атомная энергия никогда не будет иметь практических применений. В последнем случае опровержение последо/рвало особенно быстро: спонтанное деление урана открыли через три года. Но, конечно, профессор Хайек скажет нам, что все это не касается «сложных систем». Настолько касается, что «генная инженерия» вызывает ужас у тех, кто о ней что-нибудь знает. Хотелось бы, чтобы в биологии (а тем более в экономике) утопические проекты не созрели раньше времени. Представьте себе, что задуманный физиками термоядерный двигатель вдруг осуществится. Это будет означать неограниченное количество практически даровой энергии; что случится после этого с мировым рынком? Во всяком случае, энергией уже нельзя будет торговать – как теперь нельзя торговать воздухом или морской водой. Можно будет, в принципе, бесплатно снабжать все население Земли изделиями любой трудоемкости (я намеренно упрощаю дело), и какие-нибудь филантропы могут этим заняться, пустив по миру всех торговцев. Чтобы сохранить любезный профессору Хайеку «расширенный порядок», в основе которого, по его выражению, лежит скудость (scarcity) потребляемых благ, потребуется строгое государственное регулирование производства энергии: «невидимая рука», открытая Адамом Смитом, будет поддерживаться видимой рукой бюрократии, то есть – по определению Хайека – установится социализм.

Как мне кажется, я объяснил неизбежность «утопического» сознания, его вездесущность в умах талантливых людей и его историческую роль. Правда, остается решить, непременно ли этот вид сознания надо называть «социалистическим», и что такое вообще «социализм»?

### 3. Дихотомическое мышление; капитализм и миф о «природе человека»

Но прежде мы должны понять, что такое «капитализм», или, как его предпочитает называть профессор Хайек, «расширенный порядок». Естественно начать с той стороны, которую только и видит Хайек, – с экономической стороны капитализма, как ее понимает большинство западных экономистов, в том числе и он.

Современная «западная» трактовка капитализма считается, или считает себя, научной и объективной, но в действительности основана на бессознательно (или даже сознательно) принятой иррациональной презумпции о «природе человека». Вместо серьезного изучения и понимания человека в европейской традиции укоренился эсхатологический миф, описывающий эту «природу» одной из двух простых формул: «человек добр» или «человек зол». Вообще, склонность ставить вопросы в форме, допускающей два и только два категорических ответа, а затем отвечать на них «да» или «нет», глубоко присуща человеческому мышлению и породила уже бесчисленные заблуждения в науке и в общественной жизни. Лоренц называет это «мышлением в антагонистических понятиях», показывая, насколько вредны его последствия в биологии, антропологии и философии. Для краткости я назову такое мышление «дихотомическим», от известного в логике термина, означающего «деление надвое». Привычка к построению противоположных понятий связана с самой структурой нашего нейрофизиологического аппарата, действующего по «бинарному» принципу. Не только чувствительные клетки нашего тела, но и нейроны мозга способны срабатывать лишь двумя способами: выдавая импульс или не выдавая его, причем в первом случае величина и форма импульса строго стандартизованы. Иначе говоря, сообщения, циркулирующие в нашей нервной системе, «записываются» в двоичном алфавите – теоретически простейшем из всех возможных. Это не так уж удивительно, поскольку эволюция всегда начинается с простых решений, а затем уже, в случае надобности, усложняет их, но никогда не меняет однажды принятый основной выбор. По-видимому, первый организм, который можно было бы назвать «живым», обладал уже бинарной системой приема и обработки информации; в самом деле, она есть у всех живых существ, а теперь нет сомнений, что все они происходят от одного вида организмов, поскольку обладают тождественным химическим аппаратом наследственности. Ясно также, почему эволюция избрала «цифровой» принцип: так как «аналоговая» или непрерывная запись информации неизбежно приводит к быстрому накоплению ошибок. Но тогда нетрудно понять, что и все мышление человека развилось в форме «двузначной логики», полярно противопоставляющей «истину» и «ложь».

Разумеется, такое «бинарное» устройство элементарных актов нашего мышления вовсе не навязывает нам «дихотомию» на любом его уровне. Уже самый человеческий мозг, использующий бинарный алфавит в своей работе, вовсе не является «цифровой вычислительной машиной», как вообразили на заре кибернетики некоторые из ее энтузиастов. ение, безусловно принимаются не путем вычислений с двоичными знаками. Может быть, в мозгу есть случайные механизмы, и несомненно там есть техника сравнения «гештальтов», какая и не снилась нашим специалистам по «распознаванию образов». Используя случайную технику, делая случайные ходы и сравнивая свои рассуждения с опытом, ученый может достигнуть гораздо большего, чем с помощью дихотомических «определений» и «теорем». Все, что мы надежно знаем об окружающих нас сложных системах и что мы повседневно используем – называется это наукой или нет, – люди познали таким путем. Но великий соблазн дихотомии все еще подстерегает мыслителя на каждом шагу; а не-мыслитель просто не способен ему сопротивляться.

Началом этого соблазна была греческая геометрия. Это была первая настоящая наука – во всяком случае, первая теоретическая наука; и успехи ее были столь блистательны, что вызвали у греческих мыслителей почти непреодолимые иллюзии. Им казалось, что и все другие предметы нашего опыта можно изучать *more geometrico*, на геометрический лад: надо только выделить основные понятия в виде аксиом и определений, а затем все вопросы можно формулировать в виде предположительных теорем, которые могут быть только истинны или ложны[7]. Иначе говоря, греческие мыслители – и прежде всего Платон – вообразили, будто можно открыть все законы мироздания и наилучшие законы человеческого общежития путем абстрактного рассуждения, не обращаясь к опыту. А рассуждение, в этом смысле, было дихотомично: формулировались вопросы и предполагалось, что все вопросы допускают, как в геометрии, ответ «да» или «нет». Платон не скрывал, откуда произошел его метод мышления: по преданию, в его Академию «не мог войти не знающий геометрии». Пагубная самонадеянность Платона не только породила его поэтические диалоги; как показал Рассел, она перешла затем к отцам христианской церкви, определила стиль мышления средневековых схоластов и задержала научное исследование природы почти на две тысячи лет – чему были, впрочем, и другие причины.

Один из вопросов, без конца обсуждавшихся схоластами, был вопрос о

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«природе человека». Предполагалось, что бог создал человека чистым и совершенным, но затем его природа была омрачена первородным грехом; таким образом, человек в основном считался злым – корыстным и жестоким; правда, у схоластов это суждение умерялось предположением, что после искупительной жертвы Христа человек в некоторой степени способен стремиться к спасению души и при наличии благодати может быть все-таки добр или благ.

Такая противоречивая трактовка «природы человека» чужда нынешним западным экономистам и «социальным философам»; они сплошь неверующие и, как им кажется, «реалисты». Но в основе их объяснения человеческого общества лежит предположение, что человек зол, что он руководствуется своей выгодой и ради этой выгоды готов пренебречь интересами других. В самом деле, что выражает самое существование рынка, если не эту склонность людей прежде всего извлекать наибольшую выгоду из своего положения в производстве, в доступе к материалам производства или к средствам распределения его продуктов?

Конечно, теоретически допускаются и другие мотивы человеческого поведения кроме корысти, но легко заметить, что профессор Хайек не очень полагается на эти мотивы, а безусловно подразумевает «эгоистическое» поведение и старается даже оправдать его. Предприниматель, открывший особенно выгодный источник сырья, – говорит Хайек, – естественно, постарается скрыть его от своих конкурентов, сохранив его только для себя. Хайек откровенно одобряет такое поведение и, по-видимому, не видит в нем ничего безнравственного. Между тем, легко представить себе ситуации, когда это поведение оказывается отвратительно бесчеловечным. Капитал дает возможность скупать зерно и запасать его в предвидении неурожая, а затем продавать голодающим по высоким ценам. Люди, умеющие это делать, знают, где можно дешевле купить это зерно и когда его можно дороже продать, не делятся с другими этими сведениями и извлекают из них все преимущества. Здесь мы имеем в зачаточной форме всю мораль капитализма, и в книге Хайека нет ни одной фразы, осуждающей такой образ действий даже в этой классической, бесстыдной его форме. Лучшее знание вознаграждается – только и всего. Яобственник предприятия) знает вредные свойства своего продукта, например, входящие в его состав вещества, опасные для здоровья потребителя. Должен ли он делиться с потребителем этими знаниями? Можно сослаться, разумеется на «моральные правила», принятые в «расширенном порядке», но очень сомнительно, чтобы человек, привыкший скрывать существенную информацию от своих конкурентов (и одобряемый в этом профессором Хайеком) проявил такую щепетильность в отношении потребителя. Скорее всего, он и в этом случае утаит имеющуюся у него информацию, если сможет. Вся надежда на то, что другие «правила», например, страх судебной ответственности, остановят его в этой практике. И ясно, что Хайек имеет в виду именно эти «правила», а вовсе не общую человеческую порядочность. Да и как примирить с такой порядочностью действия предпринимателя, который с целью искусственно поддержать высокую цену на свой продукт утаивает от всех информацию, позволяющую удешевить производство? Ясно, что такой человек наносит обществу очевидный ущерб, сохраняя для себя свои секреты. В моральном смысле это немногим лучше, чем практика богачей, скупающих зерно в предвидении неурожая, и я не вижу во взглядах профессора Хайека ничего даже косвенно осуждающего подобное поведение.

Между тем, христианская религия никогда не одобряла такого эгоизма, и когда она была сильна, существовали строгие правила, предписывавшие каждому ремесленнику раскрывать перед своими собратьями по цеху свои источники снабжения и запрещавшие ему искать чрезмерную выгоду, назначая слишком высокие цены за свои изделия. Правда, в то время еще не утвердился «расширенный порядок». Профессора Хайека не интересует, стали ли люди с тех пор лучше или хуже. Он все время повторяет, что благодаря «понимание «расширенного порядка» – это никоим образом не «социальный дарвинизм»!

Что уж говорить о торговле, где вся мудрость в том, чтобы дешевле купить и дороже продать. Бесспорно, такая деятельность способствует эффективности рыночного хозяйства, но когда христианство было сильно, к торговле относились как к весьма подозрительному занятию. Еще Гёте говорил, что «торговля, война и пиратство – нераздельная троица», хотя он и был сын купца. А отдавать деньги в рост христиане считали тягчайшим грехом: этого церковь никак не могла им разрешить и требовала обуздания евреев, пытавшихся использовать такую ситуацию. Обо всем этом христианском (и ветхозаветном!) морализме пришлось забыть, потому что «расширенный порядок» не может существовать без банковского кредита. Более половины добродетельных джентльменов, заседавших в Континентальном конгрессе, «давали деньги в рост». Другие были рабовладельцы, и я не вижу, почему бы профессор Хайек не одобрил тех и других. Ведь от христианской морали все-таки остаются какие-то правила игры; и профессор надеется, что этих



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
правил хватит еще надолго. Если посмотреть на нынешних дельцов и сравнить их с Франклином и Вашингтоном, то, право же, в этом можно усомниться.

Церковь признавала, что «человек зол», и пыталась обуздать эту его злую природу. Профессор Хайек вообще не видит проблемы зла, безмятежно при этом предполагая корысть как основной мотив человеческого поведения [8]. Между тем утверждают, что в Соединенных Штатах нелегко уже купить добросовестный труд: люди, воспитанные без религии, в безнравственной обстановке муниципальных школ, или просто выросшие в уличных шайках, не хотят и не будут трудиться, когда этого можно избежать. Остается возложить надежды на рынок: если честный труд станет достаточно дорогим товаром, то, как полагают господа монетаристы, этот товар тут же и появится в продаже. Ясно, что приготовить такой товар может только воспитание. Но как раз с воспитанием дело обстоит хуже всего. Государственные чиновники и конгрессмены, разделяющие взгляды нашего профессора (и не имевшие случая узнать о каких-нибудь других взглядах), в течение десятилетий пытаются улучшить школьное образование. Для этого они ассигнуют миллиарды долларов, которые уходят впустую: школы, став дороже, не становятся лучше. Частные школы, куда посылают своих детей состоятельные родители, устраиваются людьми, также убежденными в том, что все дело в цене; но в этих дорогих школах, как видели ездившие в Америку учителя, тоже ничему не учат. В больших городах кое-где еще сохранились частные школы получше, устроенные на старый лад, но они как раз не обходятся дорого. В общем, по официальной статистике около 30 % детей, оканчивающих среднюю школу, попросту не умеют читать, а некоторые компетентные американцы уверяли меня, что не 30 %, а 40. Примерно так же обстоит дело в колледжах и университетах: хотя на отдельных факультетах нескольких лучших университетов еще поддерживается высокий уровень науки и преподавания, в подавляющем большинстве их покупатели дипломов вообще не хотят учиться и имеют возможность достигнуть своей цели без особых усилий. Когда я спросил американца, почему в их стране сохраняется спрос на университетские дипломы, он сказал мне, что в учреждениях и на предприятиях хотят иметь грамотных служащих, но поскольку окончание школы не гарантирует даже простой грамотности, то бюрократы возлагают надежды на университетский диплом. Этот человек работал в университете и очень хорошо знал дипломную промышленность. Сам я работал несколько лет назад в одном американском университете и был удивлен некомпетентным ведением его библиотеки. Отправившись в другой университет, похуже, я обнаружил там совсем уже анекдотические вещи. Библиотекари были снабжены компьютерами, но оказались малограмотными. Я искал в компьютерном каталоге книгу с двумя авторами и спросил библиотекаря, что делать в таком случае – и он этого не знал, а когда надо было ввести в компьютер название книги на немецком языке, он не сумел этого сделать и позвал на помощь коллег. Кстати, в той же библиотеке объявления предупреждали читателей, что не следует оставлять вещи без присмотра, потому что в читальных залах вещи крадут. Я мог бы подумать, что попал в худший из американских университетов, но это было в одном из самых больших городов, и меня уверили, что бывает хуже. В другой раз мне предложили прочесть курс аспирантам, но оказалось, что слушатели не знают и того, что у нас должен быть средний студент. Я расспрашивал о «докторских» экзаменах – и был поражен их убогой программой. В этих университетах были огромные, дорогостоящие здания с совершенным оборудованием, о котором у нас и не мечтают; компьютерам не было числа, книги в библиотеках были в высоких залах, на прекрасных стеллажах и в твердых переплетах. В общем, в эти университеты вкладывали немало денег – и очевидным образом зря. Можно прийти к выводу, что хорошую систему образования за деньги купить нельзя.

Так же обстоит дело и со здравоохранением. Вряд ли надо напоминать о плачевном состоянии общественного здравоохранения в Соединенных Штатах. Сам я не имел случая с ним познакомиться, но, как мне рассказывали, «бесплатная» медицинская помощь (в действительности оплачиваемая фирмами и учреждениями, то есть косвенным образом трудом клиентов, подлежащих обязательной страховке) бывает обычно столь низкого качества, что единственная польза от нее сводится к получению анализов и другим техническим процедурам. В случае серьезной болезни все равно приходится обращаться к частным врачам, которые все дороги, но лишь в отдельных случаях действительно компетентны. Затратив огромные деньги на систему страховой медицины, американцы убедились, что хорошую медицинскую систему купить нельзя.

Можно было бы, конечно, возразить, что общественное образование и здравоохранение – это как раз тот товар, который профессор Хайек не стал бы покупать: в качестве убежденного консерватора он, вероятно, хотел, чтобы вовсе не было таких государственных программ, навязанных либеральным законодательством и поневоле оплачиваемых налогоплательщиками. Посмотрим

же, в чем состоит возможная альтернатива. В прошлом веке вовсе не было «социального страхования», и врачебная помощь оплачивалась каждым ее потребителем индивидуально, как любой другой товар. Но не было и современной медицины: «расширенный порядок» был тогда гораздо проще. В викторианской Англии, где власть денег не ограничивалась никакими социальными мерами, сиятельный герцог или хлопковый лорд (cotton lord) мог в один день умереть от холеры, гнездившейся в трущобах бедняков. Холеру удалось удалить из повседневной жизни с помощью принудительных мер и за счет налогоплательщиков; строго говоря, это уже был «социализм» в том смысле, как его понимает профессор Хайек. Все мы не замечаем, как пользуемся плодами такого социализма; но ослабьте внимание к социальной политике, и завтра в вашей тарелке будет холерный вибрион. От него индивидуально не откупишься. И если о холере можно на какое-то время забыть, то всем нам угрожает СПИД, и особенно тем, кто покупает на рынке секс. Даже тот, кто может себе позволить дорого платить за этот товар, трепещет, потому что СПИД поджидает его на ложе наслаждений. И уже ясно, что даже относительную безопасность от СПИД'а можно купить ценой лишь очень сложных, всеохватывающих и дорогостоящих социальных мер. Я не могу себе представить, чтобы богатый человек, потребляющий продажный секс, мог изолироваться от общества, покупая себе невольниц и запирая их в непроницаемый гарем. Насколько проще все это было в викторианские времена! Человек наслаждался за свои деньги, вдруг от чего-то умирал, и это не беспокоило других. А как быть с наркотиками? Как вы купите безопасность своему маленькому сыну, которому такой же, как вы, свободный предприниматель продаст порошок под названием «крэк» (crack)? Порошок этот не то, что опиум: привыкание к нему образуется в один прием. В викторианские времена свобода торговли не подлежала дискуссии: с китайцами вели опиумную войну. Но как быть с «крэком»? Как устроить, чтобы его продавали где-нибудь в Китае, но не здесь? И не следует ли придержать развитие химии, изготовляющей такие подарки детям и взрослым, да еще по грошовой цене? Не находите ли вы, что «расширенный порядок» стал слишком сложен, чтобы им могла управлять «невидимая рука» рынка, что в некоторых случаях надо присмотреться, благотворно ли все, что она невидимо творит?

Что касается покупки образования, то частные школы, как я уже говорил, дороги и ничему не учат. Умные американцы хорошо это знают и не полагаются на свои деньги, а ищут хорошую школу, руководствуясь собственным пониманием образования и людей, еще способных его доставлять. В некоторых случаях они даже меняют место жительства и работу, чтобы найти приличную школу для своих детей. Те, кто вообще понимает, что такое образование, еще могут его найти, но за деньги образование купить нельзя.

В некоторых университетах все еще есть выдающиеся ученые, но они и за большие деньги не займутся вашим отпрыском, если он бездарен и ленив. А если он способен к науке, то настоящие интеллигенты и без денег кооптируют его в свой круг. Если он беден, ему устроят стипендию, и надо признать, что на Западе – по крайней мере в Соединенных Штатах – способный человек может получить образование почти без денег. Деньги могут лишь облегчить ему жизнь; но, как правило, дети богатых людей идут в бизнес и не очень обременяют свой ум.

Мы видим, таким образом, что проблемы охраны здоровья и образования не могут быть решены рыночным путем. Здоровье в очень значительной степени зависит от состояния человеческой среды, то есть от продуманных социальных усилий; а образование и вообще есть нечто такое, чего нельзя ни продать, ни купить. В обоих случаях рыночное хозяйство бессильно решить жгучие проблемы общества. Но слова «общество» профессор Хайек не любит; он воображает, что вместе со словом можно изгнать и обозначаемую им реальность.

И, наконец, – преступность. С тех пор как Библия перестала быть настольной книгой семьи, а сама семья превратилась в более или менее удобный домашний бизнес, дети больше не воспитываются в страхе божьем. У них не образуется то самое Суперэго, о котором говорил неудобный возмутитель «расширенного порядка», презираемый профессором Хайеком Фрейд. А тогда приходится вырабатывать у таких детей суррогаты совести, какие-нибудь «идеалы эго», действующие лишь до тех пор, пока бессовестное поведение немедленно наказывается. Если таких упрощенных детей вырастает слишком много, то некому за ними следить, и трудно их всех наказывать; дети усваивают мораль «малолетних правонарушителей», juvenile delinquents. Когда они становятся взрослыми, какая-то часть их превращается в гангстеров, а остальные – в скользких мошенников, фальсифицирующих налоговые декларации и вообще не склонных выполнять те моральные правила, без которых невозможно рыночное хозяйство. За неимением внутренней морали приходится положиться на суд и полицию. Но оказывается, что суды и полицейские делаются, по древней поговорке, из той же муки. Государство непрерывно увеличивает ассигнования

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
на полицию и тюрьмы, покупает для них новейшее оборудование, но вы уже знаете результат. Преступность растет из года в год, и пропала всякая надежда ее остановить. Конечно, очень богатые люди могут купить себе некоторую безопасность, не рассчитывая на социальную политику правительства. В Соединенных Штатах давно уже появились обнесенные высокой стеной резиденции, охраняемые наемной стражей. Появились даже «частные улицы», куда постороннему не дают ни въехать, ни войти. Богатые устроили себе особую субкультуру, сильно смахивающую на тюремное заключение. Каждую минуту им угрожает похищение; надо охранять всю семью, детей в колледже и старую бабушку на прогулке, но если кому-нибудь нужно расправиться с богатым человеком, никакая охрана ему не поможет, будь он сам президент. Насколько легче была жизнь в викторианские времена! Бедные люди были тогда совестливы, и в случае необходимости их можно было повесить за кражу кошелька.

Преступность, нарастающую в западном обществе, некоторым образом перестали замечать. Все знают, что мафия вездесуща. Американцы убеждены, что с президентом Кеннеди расправилась мафия, и вовсе не потому, что он ее преследовал. Нет, говорят, что он сам был связан с мафией, как и его отец, что семейное состояние было приобретено нечестным путем, и что даже президентом он стал при помощи своих мафиозных сообщников; а потом он не исполнил принятых на себя обязательств, и его убрали. Версия эта кажется фантастической, но в нее верят неглупые люди. Да и как не задуматься над убийством Кеннеди? Я внимательно следил за его расследованием, насколько позволяли обычные средства информации – западное радио и печать. У меня создалось убеждение, что следствие было нечисто. Американцы после этого не верят в правосудие, когда замешаны крупные интересы: правосудие всегда можно купить. Но тогда – можно ли купить безопасность?

Рост преступности напоминает крещендо симфонического оркестра, медленно нарастающий гул, подготавливающий сокрушительный финал. Профессор Хайек верит, что «свободный рынок» может справиться и с этим бедствием; меня удивляет его безмятежный, доктринально спокойный тон. Вдохновитель Рейгана и мадам Тэтчер – вовсе не рационалист. За его доктриной стоит магическое мышление: «монетаристы» попросту надеются, что если вернуться к рыночной системе прошлого века, то и все общество каким-то образом вернется к здоровым викторианским обычаям. Наши политические комбинаторы, отчаявшись придумать что-нибудь новое, точно так же полагаются на магическое мышление, унаследованное от наших первобытных предков: они надеются, что если например, переименовать Ленинград в Санкт-Петербург, то в этот город вернется блеск европейской столицы, которой он некогда был; а если изобразить на монетах двуглавого орла, то российская империя каким-то образом восстанет из кучи мусора – «на радость нам, на страх врагам». «Свободный рынок» и у нас стал магическим заклинанием. Но на Западе машина все-таки вертится, и конец, может быть, удастся оттянуть лет на пятьдесят. Впрочем, кто знает? Советский Союз тоже медленно разлагался, и никто не предполагал, что он нас не переживет.

#### 4. Упадок западной культуры

Мы видим, что свободный рынок не сможет разрешить важнейшие проблемы капитализма, в том числе подготовку рабочей силы. Еще недавно Соединенные Штаты имели несомненное первенство на рынке технических изделий, а теперь они в значительной степени утратили это положение и страдают от конкуренции, особенно японской. Засилье японских товаров стало общим местом в разговорах американцев. Конечно, американцы жалуются на нечестную торговую практику японских предпринимателей и торговцев, но в действительности эта практика не лучше и не хуже обычной. Американцы требуют от федерального правительства запретительных тарифов против японских товаров, да и вообще товаров иностранного производства. Им сильно докучают «четыре дракона», молодые промышленные державы Юго-Восточной Азии – Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур; да и старая Европа, объединяясь и модернизируя производство, успешно внедряется на американский рынок. По ряду причин федеральное правительство не может обуздать этих конкурентов таможенными тарифами, и вовсе не потому, что оно соблюдает правила свободного рынка, а из опасения ответных мер против американских изделий. Моральное негодование американцев нельзя принимать слишком всерьез: может

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
быть, половина их уже разъезжает на японских автомобилях и покупает японские телевизоры, а фотоаппараты и другую оптику почти полностью монополизировали японцы. Более того, даже американские ракеты, символизирующие военную мощь Соединенных Штатов, не могут уже летать без японской электроники – во всяком случае, ее трудно заменить.

Прошу прощения у читателя за этот перечень общеизвестных фактов, но, может быть, объяснение их не столь известно. Между тем, все компетентные исследователи объясняют их плохой организацией производства в Соединенных Штатах и низким уровнем рабочей силы. Так как производство тоже организуется людьми, то, стало быть, американские инженеры, менеджеры и экономисты становятся хуже японских; а это опять сводится к качеству рабочей силы. В прежние времена на этот фактор никогда не жаловались: предполагалось, что рабочую силу требуемого качества можно купить, предложив нужную цену. Теперь, как видите, это уже не так.

После сказанного выше об американской системе воспитания и образования нетрудно понять, что выходящим на рынок рабочей силы молодым людям недостает надлежащих мотивов – побуждений к добросовестному труду. С точки зрения профессора Хайека это, может быть, казалось не особенно странным: ведь «расширенный порядок» в действительности охватывает теперь весь мир, и если японские товары вытесняют американские – даже в самой Америке – это всего лишь нормальная конкуренция. Конечно, Хайек не националист, тем более не американский националист. Перспектива превращения Соединенных Штатов во второстепенную державу, даже в аграрный придаток Японии его бы не испугала: значит, таков закон рынка. Но давайте разберемся, в чем же преимущество японского рабочего перед американским.

По общему признанию социологов и психологов, изучавших этот вопрос, японский рабочий не столь «избалован» удобствами жизни, привык к более скромным условиям – более простой еде и одежде, более примитивному жилью. Но главное, он связан со своей фирмой прочной эмоциональной связью, переноса на своих хозяев вассальную лояльность, выработанную историей японской деревни. Много говорили, что японский рабочий по своей природе коллективист, что у японцев вообще не завершился еще процесс выделения личности из феодальной (и даже племенной) общины. В общем, преимущество японского рабочего состоит в том, что в Японии еще в значительной мере сохранился феодализм: именно отсталость японского психического склада передолевает японцам преимущества в конкурентной борьбе, столь раздражающие передовых, современных американцев. То же относится к инженерам и менеджерам. В Японии это преданные слуги своей фирмы, относящиеся к ее хозяевам, как их предки, приказчики и надсмотрщики, относились к даймио – своим феодальным князьям. Впрочем, в условиях современной жизни эти феодальные добродетели постепенно исчезают; средний уровень жизни в Японии уже сравним с европейским (если не американским) стандартом. Когда я услышал, что в Японии 20 % семей имеют уже два автомобиля, мне и без статистики стало ясно, что это уже не бедная страна. Пройдет еще некоторое время, и рыночные преимущества японцев, как и других индустриальных «драконов» Азии, будут утрачены. Опять-таки, с точки зрения профессора Хайека все это – нормальный процесс: рынок все взвесит, уравнивает и разрешит все проблемы. Пусть белый рынок при этом немного пожелтеет, это тоже не беда.

Беда в том, что весь XX век продолжался упадок западной культуры; а поскольку эта культура господствует в современном мире, в этот упадок втягивается весь человеческий род. Об этом упадке мне придется рассказать подробно; но прежде я хочу привести замечательный случай, когда американские дельцы прямо им занялись. Вообще делец не склонен к историческим сравнениям, и если его дела идут, как ему кажется, хорошо, то он полагает, что живет в лучшей из всех возможных эпох. Но бывают случаи, когда наука, по-видимому, не умеет справиться с задачами, какие ставит ей «технический прогресс». Я уже говорил о термоядерной энергии, которую физики обещают уже сорок лет, но не умеют приблизиться к практическим результатам. Другой пример – передача энергии на дальние расстояния. Передача тока по проводам связана с неприемлемыми тепловыми потерями; как показывает теоретический анализ, их можно избежать, только сделав сверхпроводящие пути для тока, но физики умеют создавать такие пути лишь при очень низких температурах, практически недоступных для дальних передач. Поскольку источники энергии находятся обычно далеко от ее потребителей, приходится, по примеру прошлого века, гнать на тысячи километров бесконечные поезда с углем и нефтью. Третий пример – аккумуляция энергии. До сих пор не удалось изобрести емких и компактных аккумуляторов, которые можно было бы перевозить на расстояние, или ставить на автомобили. Конечно, идеальным двигателем был электрический мотор – просто устроенный, бесшумный и не вредящий окружающей среде. Но для этого надо подводить ток по

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

проводам, как это делается в трамваях и на электрических железных дорогах. Свободное передвижение, какое требуется от автомобиля, нуждается в аккумуляторах электрической энергии; но устройства, известные под этим именем, имеют небольшую живых существ, а теперь нет сомнений, что все они происходят от одного вида организмов, поскольку обладают тождественным химическим аппаратом наследственности. Ясно также, почему эволюция избрала «цифровой» принцип: так как «аналоговая» или непрерывная запись информации неизбежно приводит к быстрому накоплению ошибок. Но тогда нетрудно понять, что и все мышление человека развилось в форме «двузначной логики», полярно противопоставляющей «истину» и «ложь». Живых существ, а теперь нет сомнений, что все они происходят от одного вида организмов, поскольку обладают тождественным химическим аппаратом наследственности. Ясно также, почему эволюция избрала «цифровой» принцип: так как «аналоговая» или непрерывная запись информации неизбежно приводит к быстрому накоплению ошибок. Но тогда нетрудно понять, что и все мышление человека развилось в форме «двузначной логики», полярно противопоставляющей «истину» и «ложь». р емкость, громоздки и тяжелы. Можно было бы расширить список не решенных наукой проблем: инженеры здесь ничего не могут, так как нужны новые принципы, а не новые применения уже известных. Автомобили с бензиновыми двигателями, заполняющие улицы и дороги всех «цивилизованных» стран, представляют собой типичный технический тупик; чем больше совершенствуются их детали, тем яснее становится их принципиальная архаичность. Наши потомки, без сомнения, скажут, что мы устроили музей по истории техники и самодовольно в нем застряли, полагая, что переживаем прогресс.

Дельцы, опыт которых научил их, что за деньги можно купить все, давно уже удивляются, что нельзя купить нужные им научные открытия. Около двадцати лет назад они решили выяснить, почему американские университеты, поглощая огромные ассигнования, не решают проблем, от которых зависит «технический прогресс». Группе статистиков было поручено выяснить, в каких условиях появляются наилучшие научные достижения. Обследовав все известные случаи, статистики пришли к следующим выводам. Наилучшие научные результаты, – как обнаружилось, – получались в небольших университетах европейского типа, вроде Оксфордского, Кембриджского, Геттингенского, при малочисленных кафедрах и скромных денежных средствах. Такие университеты, находящиеся в маленьких городках, не были связаны с бизнесом и не вели прикладных разработок: по-видимому, нарочитая направленность на полезные приложения вовсе не способствует ценности результатов. Их ученые советы избирали профессоров без давления извне, руководствуясь печатными работами и личным знакомством. В таких университетах было мало студентов, и диплом выдавался нелегко; трудные конкурентные экзамены и редкость вакансий делали научную карьеру непривлекательной для людей, ориентированных на успех. В картине, изображенной этими статистиками, была некоторая доля идеализации, но была и важная правда. Конечно, эта правда не оказала никакого влияния на дипломную промышленность. Как и все виды бизнеса, она управляется «близкодействием», то есть совокупностью наличных в данный момент и в данном месте интересов и обстоятельств; принципиальные изменения, напротив, требуют «дальнодействия» основных ценностей культуры и более глубокого мышления, что необычно и рискованно, потому что в ближайшей перспективе такие изменения означают убытки и неприятности. Мы будем еще иметь случай вернуться к роли «близкодействия» и «дальнодействия» в общественной жизни.

\*\*\*

Упадок культуры в XX столетии был предметом многих размышлений – и предсказывался еще до того, как это столетие наступило. Можно поручиться, что в нашем веке не было ни одного сколько-нибудь значительного мыслителя, который не разделял бы эту точку зрения. Но оказывается, что западный «средний класс» и соответствующее ему наше российское мещанство далеки от пессимизма этих мыслителей. Если вы спросите типичного американца – не «фундаменталиста» и не университетского радикала – то он скажет вам, что мы переживаем очевидный «прогресс», что люди уже побывали на Луне, научились использовать атомную энергию и придумали компьютеры, которые скоро будут думать не хуже нас. Техническая оснащенность повседневного быта и постоянное совершенствование этой бытовой техники сравниваются с очевидной отсталостью наших предков. Признаются, конечно, некоторые трудности, но, в общем, принято думать, что дела идут неплохо. Недавно обрушился Советский Союз, и русская угроза превратилась в русское нищенство и унижение, что также немало способствует высокой самооценке «западной культуры». Что касается нашего от» или «коммунист», то он думает точно так же, хотя иначе говорит; и внутренне мещанин всегда ориентирован на западное понимание «хорошей жизни». Итак, мещанин – всегда оптимист и видит вокруг себя

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
прогресс. Исключения редки, и носители таких исключительных взглядов, при ближайшем исследовании, оказываются не мещанами, а чем-то другим. Я не назову мещанином искренне верующего человека; такой человек видит в современности Апокалипсис и живет в ожидании Страшного Суда.

Мы еще вернемся к этой позиции верующего, отражающей в фантастическом виде вполне реальные явления. А теперь перейдем от представлений «обывателя» к тому, что думали о XX веке величайшие мыслители. Оказывается, все они, при очень различном мировоззрении, видели в XX веке быстрый, непрерывный упадок культуры – или предвидели его еще в XIX веке. Нельзя найти ни одного сколько-нибудь серьезного мыслителя, смотревшего на этот век с некоторым оптимизмом. И, конечно, профессор Хайек не составляет исключения из правила, поскольку читатель уже убедился, или еще убедится, что он вовсе не серьезный мыслитель.

Если верить историкам культуры, каждая высокая культура переживает сначала период медленного развития, затем это развитие ускоряется и достигается высший расцвет культуры, а после этого она разрушается и гибнет. Эпохи высшего расцвета культуры называют иногда словом «акме», означавшим у греков возраст наивысшего процветания человека – примерно сорок лет. Считается, что «акме» греческой культуры приходилось на время Перикла, когда афинская демократия создала образцы искусства, науки и общественного строя для будущей Европы и всего мира. Не столь однозначно определяют «акме» римской цивилизации, поскольку она вряд ли составляла отдельную культуру, а была, по существу, зависима от греческой, но все же высшей эпохой Римского государства считается правление Антонинов во II веке. Средневековая культура Европы достигла наибольшего процветания в эпоху строительства соборов, поэзии менестрелей и возникновения университетов – «акме» приходится на XIII век. Если и наша культура клонится к упадку, – в чем уже невозможно сомневаться, – то ее «акме», безусловно, уже находится в прошлом; историки и философы полагают, что это был XIX век.

Европейская культура Нового времени началась в конце XVII века. Она была подготовлена научными открытиями Галилея, Декарта и Ньютона и нашла свое политическое выражение в так называемой Славной революции 1688 года, когда после гражданской войны и неудачной реставрации господствующие классы Англии выработали политический компромисс, давший начало буржуазной Европе. Можно указать день, когда оптимизм новой истории был провозглашен с наибольшей убежденностью и энергией: 11 декабря 1750 года Антуан Тюрго, двадцати трех лет, прочел в Сорбонне свою знаменитую лекцию о прогрессе. Совсем недавно, – говорил Тюрго, – Ньютон объяснил устройство всего мироздания, описав своей небесной механикой движение светил. Теперь настало время применить те же научные методы к объяснению человеческого общества. Когда оно будет понято, за этим неизбежно последует рациональное предвидение и планирование общественных явлений, и тогда в человеческом мире установится такая же гармония, какую мы видим в небесах. Конечно, эта наивная утопия бессознательно строилась на средневековом представлении о связи «микрокосма» с «макрокосмом»: предполагалось, что мироздание в целом таинственным образом определяет судьбу человека, так что человеческие дела в принципе управляются теми же причинами, что и движение небесных тел. Тюрго, конечно, не верил в астрологию и был бы удивлен, если бы ему сказали все это; но его оптимистическая аналогия очень скоро столкнулась с действительностью, когда он попытался, в качестве министра, реформировать французские финансы. Тюрго ничего не знал о «сложных системах», сложнейшей из которых является человеческое общество, и вряд ли понимал, что небесная механика Ньютона относится к одной из самых простых систем, допускающих точное математическое описание. Профессор Хайек усмотрел бы в этом оптимизме чистейшую утопию; себя он, конечно, считал «реалистом», но мы уже видели, что в основе его рассуждений лежит средневековое рассуждение о «злой» природе человека и гораздо более древнее магическое мышление. «Рационалисты» чаще всего не замечают, на какой почве они возводят свои сооружения. Но уже теперь ясно, что «утопист» Тюрго был ближе к истине, чем «реалист» Хайек. Человеческая культура доступна для научного изучения, хотя и не теми средствами, к которым нас приучила методология «точных наук».

Если считать началом «эпохи прогресса» 1750 год, то не так легко определить, где был ее конец. Можно не принимать во внимание критиков Нового времени, с самого начала осуждавших его с позиций средневековья. Но примечательно, что вскоре после триумфального провозглашения эры прогресса, в 1764 году, английский историк Эдуард Гиббон, будучи в Риме, был охвачен идеей об упадке каждой цивилизации, неизбежно следующем за ее ростом и процветанием. Гиббону казалось, что христианская цивилизация Европы как раз находилась в то время в своей наивысшей точке, и что за этим «акме» должен последовать период деградации культуры, аналогичный истории Римской империи

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) после эпохи Антонинов (Гиббон опасался варваров!). Пытаясь понять закономерности упадка культуры, Гиббон задумал и впоследствии осуществил свой знаменитый труд «Упадок и гибель Римской империи».

Можно, конечно, смотреть на предчувствия Гиббона с таким же скептицизмом, как на энтузиазм молодого Тюрго. Но уже в первой половине прошлого века ход развития так называемого «демократического общества» вызвал беспокойство самых глубоких его исследователей, критиковавших возникавший в то время общественный строй с разных исходных позиций. Я оставляю пока в стороне реформаторов и проповедников, таких, как Оуэн, Сен-Симон и Фурье, о которых будет речь дальше, при обсуждении социалистических доктрин. Можно оспаривать объективность и научную подготовку этих авторов. Но несколько позже, в тридцатых годах, проблемой демократии занялся Алексис де Токвиль – великий историк, может быть, величайший из всех историков. В 1832 году, еще совсем молодым человеком, граф де Токвиль, вместе со своим коллегой де Бомоном, был командирован правительством Июльской монархии в Соединенные Штаты для изучения американской пенитенциарной системы; имелась в виду задуманная в то время реформа французских тюрем. Токвиль не ограничился поставленной ему задачей, а изучил всю общественную систему Соединенных Штатов, представляющую в то время первый и единственный пример последовательной, бессословной демократии. Он изложил результаты своего исследования в знаменитой книге «О демократии в Америке», послужившей впоследствии главным источником идей о природе и возможной судьбе демократического общества.

Токвиль, происходивший из знатной аристократической семьи, с самого начала своих размышлений об истории был страстно увлечен проблемой равенства. Недавно отгремевшая Французская революция выдвинула тройной лозунг: «Равенство, Братство и Свобода», сокрушительный для феодального порядка в Европе. Токвиль был объективный исследователь, вряд ли вдохновлявшийся идеей общечеловеческого братства: он никоим образом не был социалист. Но его очень интересовали концепции равенства и свободы, которым можно было придать отчетливый смысл. Равенство означало для Токвиля юридическое равенство, то есть устранение сословных привилегий и равноправие всех граждан перед законом; свободу же он понимал как реальную возможность и способность гражданина самостоятельно действовать в рамках закона. Главным наблюдением Токвиля было непрерывное, неуклонное стремление европейского общества к равенству в течение ряда столетий. Единственной страной, где это стремление получило почти полное осуществление, была недавно образованная европейскими колонистами молодая американская республика. В самом деле, в Соединенных Штатах все граждане (кроме невольников-негров и индейцев, не считавшихся гражданами) были юридически равноправны и даже пользовались (не считая женщин) равным избирательным правом. Ни в одной стране Европы не было в то время столь демократической системы правления, и Токвиль имел все основания изучать демократию в той стране, где она впервые сложилась в законченный механизм.

Токвиль обнаружил у американцев решительное неприятие всех привилегий, связанных с происхождением, и обостренное чувство личной независимости. Таким образом, Соединенные Штаты предстали перед ним как завершение того процесса выравнивания прав, в котором он видел главный двигатель европейской истории. Но глубокий анализ американского общества, произведенный Токвилем, привел его также к другому, нерадостному заключению: он пришел к выводу, что тенденции развития американского общества в конечном счете могут противоречить идее свободы. Как объясняет Токвиль, представление о личной свободе возникло из особых привилегий потомственной аристократии. Вначале аристократы и были – в феодальной Европе – единственными свободными людьми: вспомним, что титул барона происходит от германского слова «баро», означавшего просто «свободный человек», и что даже в современном немецком языке «барон» обозначается словом *Freiherr*, буквально – «свободный господин». Свобода вначале была привилегией – бережно охраняемой привилегией единственной общественной группы, обладавшей сознанием своего врожденного права на свободу и готовой ее защищать с оружием в руках. Но это значит, что изначально было уже противоречие между равенством и свободой. Полное равенство означает исчезновение всех привилегированных групп; свобода гражданина теряет свой первоначальный характер особого, исключительного права, требующего активной защиты, и начинает восприниматься как нечто самоочевидное, не представляющее особого блага и не требующее особых усилий. Но тогда общественная жизнь не способствует выдвиганию сильных личностей, способных добиваться идеальных целей, и сосредоточивается вокруг чисто материальных интересов. «Всеобщее равенство» приводит к общественному давлению, вынуждающему человека следовать усредненным, заимствованным у окружающей среды мотивам. Возникает царство самодовольной, но робкой перед соседями

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) посредственности, в точности описанной Фроммом в книге «Бегство от свободы» через сто лет. Предсказания Токвиля на этот счет вполне оправдались: возникло «общество массового потребления», где человек пользуется свободой от внешнего принуждения, но не способен уже пользоваться своей свободой для каких-нибудь осознанных целей. Гениальное предсказание Токвиля (а это лишь одно из его оправдавшихся предсказаний!) вторично подводит нас к «обществу массового потребления», управляемому механизмом рыночных цен.

Несколько позже, в середине XIX века, аналогичные наблюдения были сделаны в Европе. Джон Стюарт Милль в книгах «О свободе» и «О представительном правлении» обнаружил в Англии ту же тенденцию к материальному благополучию, то же отсутствие интереса к духовной жизни и неумение пользоваться свободой. Это уже сложившееся «буржуазное» общество Милль сравнивал с китайским, в котором находил те же черты, и предсказывал «китаизацию» современной ему Англии. Конечно, это сравнение было весьма неблагоприятно для свободы, потому что Китай, впавший в безвыходный застой, свободы никогда не знал.

Примерно в то же время А.И. Герцен, эмигрировавший из России в 1847 году, был глубоко разочарован направлением развития Западной Европы, где устанавливалось господство «мещанства» – то есть буржуазии. Термин «мещанство» первоначально означал городское сословие в России, состоявшее из ремесленников, купцов, предпринимателей и чиновников, и применялся как официальное юридическое обозначение городского населения, не входившего в два привилегированных сословия – дворянство и духовенство[9]. «Мещане» в России были чем-то вроде «третьего сословия» дореволюционной Франции и стали зародышем русской буржуазии. По-видимому, это и имел в виду Герцен, применивший этот термин к западноевропейской буржуазии, когда русская еще не существовала [Слово «мещанство», почти не поддающееся переводу на европейские языки, стало в дальнейшем специфическим, очень важным для русской интеллигенции обозначением противостоящей ей массы косного, реакционного и увязшего в «общепринятых» понятиях мелкобуржуазного населения. В этом специфически русском смысле применял это слово Максим Горький, создавший ему особую популярность. Но Герцен впервые ввел его как социологический термин – для западной буржуазии.]. Герцен считал, что западное общество принимает все более мещанский характер – что в нем исчезает интерес к общим идеям и вообще интерес к духовной культуре, что их вытесняет исключительная забота о материальном благополучии, причем образ жизни и мышление людей становятся все более однородными, ориентируясь на общепринятые образцы. Такое застойное общество, где уже не происходит ничего нового и где не возникают сильные человеческие типы, вполне отвечало представлению Милля о Китае и предсказанию Токвиля.

Милль был крайний либерал с социалистическими тенденциями, а Герцен был убежденный социалист. Но в то же время, в середине XIX века, с критикой буржуазного общества выступил Томас Карлейль, сравнивавший окружающую его Англию с цветущим разнообразием Средних Веков, где не было и не признавалось возможное равенство между людьми; и Карлейль пришел к столь же пессимистической оценке современного общества, как Милль и Герцен.

Это общество казалось устойчивым, и можно было опасаться, что оно и в самом деле сложится в такую же долговечную неподвижность, какой был в течение тысячелетий традиционный Китай. Возможность такого статического общества, по-видимому, особенно поразила Милля; и можно думать, что «моральные правила» профессора Хайека в их практическом применении больше напоминают правила конфуцианства, чем христианскую этику Европы. На первый взгляд длительное существование традиционного китайского общества поддерживает тезис Хайека о «расширенном порядке», управляемом попросту некоторым набором правил поведения. В самом деле, учение Конфуция, жившего около пятисотого года до нашей эры, мало напоминает то, что мы называем «религией». Это прежде всего исключительно земная, посясторонняя этическая система, не опирающаяся ни на какую санкцию свыше и чуждая всем представлениям о сверхъестественных силах. Разумеется, у китайцев были представления о загробной жизни, но когда Конфуция спросили, в чем состоит наш долг по отношению к небу, он уклончиво ответил: «Мы не знаем, как выполнить наш долг на земле, а вы спрашиваете, в чем наш долг перед небом». Приняв учение Конфуция и сохранив лишь слабые пережитки первобытного анимизма, китайцы сумели создать устойчивое общество, продержавшееся в течение тысячелетий в почти неизменном виде и, как можно подумать, процветавшее на уровне своей статической экономики. Существование такого общества, по-видимому, противоречит нашему обычному представлению о роли религии в установлении и поддержании культурной традиции, подчеркиваемому и самим Хайеком, особенно в конце его книги. В самом деле, если понимать религию в том смысле, как это принято в большинстве известных культур – в том числе в нашей – то у китайцев (и точно так же у японцев, заимствовавших



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
китайскую культуру на ранней стадии развития своей собственной) нет вовсе никакой религии, а есть только общепринятое этическое и эстетическое учение. Китаец не страшится сверхъестественных сил и не заботится о своем загробном существовании; если он соблюдает обычные правила общежития и приличного поведения – к чему и сводится конфуцианская этика, практически не очень отличающаяся от нашей, – то он делает это, чтобы избежать неприятностей в «земной» жизни и не причинить ущерба другим людям, причем первое и второе связаны обычно причинной зависимостью. Конечно, традиционное воспитание внушает китайцу (или внушало когда-то) глубоко эмоциональную установку уважения к родителям, почитаемым согражданам и установленным властям, но в основе своей такая этика вполне рациональна, и сам Конфуций оправдывал ее наибольшим благом наибольшего числа людей, как выразились бы Бентам или профессор Хайек. Трудно отделаться от впечатления, что «моральные правила», как их понимает Хайек, имеют тот же конфуцианский, трезво практический и утилитарный характер, хотя сам он о китайской этике не упоминает. Казалось бы, самая возможность Китая поддерживает тезис Хайека о возможности соблюдения «моральных правил» после разрушения их религиозного основания. Но Хайек почему-то не ссылается на этот важнейший для него пример. И можно понять, почему.

Дело в том, что пример Китая мало вдохновляет западного читателя, обычно ориентированного на успех: история Китая с западной точки зрения вряд ли выглядит особенно успешной. Китайцы изобрели порох, магнитный компас и книгопечатание, задолго до европейцев у них процветали ремесла, торговля и мореплавание. Но все это – и даже знаменитая китайская стена – не спасло их от завоевания примитивными степными кочевниками, а затем от колонизации европейцами и японцами. Кроме того, конфуцианская мораль не спасла Китай от коррупции, паразитизма и бесчеловечных обычаев вроде детоубийства. И все же это пример живучести нерелигиозной традиции, которой мы займемся в дальнейшем.

По-видимому, «акме» западной цивилизации можно расположить около 1850 года. Во второй половине XIX века в Европе, а затем и в Соединенных Штатах происходят явления, свидетельствующие об упадке культуры и нежелании широких слоев населения соблюдать ее «правила игры». С одной стороны, в литературе и искусстве, выражающих вкусы и настроения высших слоев общества, все более выступают симптомы «декаданса», разрушения традиционной эстетики и выработанных культурой жанров и форм; с другой стороны, в творческой интеллигенции, а под ее влиянием в низших слоях растет неприятие традиционных общественных отношений, перерастающее в мощное общественное движение, принципиально отвергающее капитализм. Возникают и усиливаются социалистические партии, а на обочине этого движения – группы коммунистов и анархистов. С точки зрения профессора Хайека социалистическое движение носит ретроградный характер: оно стремится заменить «правила игры» буржуазного общества, или «расширенного порядка», давно превзойденными историей отношениями непосредственной человечности, характерными для небольших первобытных групп. Эта тенденция, однако, не является ретроградной, поскольку здесь речь идет о возвращении к инстинктивной основе человеческого поведения. В то же время, и особенно к концу века, в некоторых странах Европы развивается подлинно ретроградное движение – национализм, стремящийся вернуть общественные отношения к промежуточной стадии племенных союзов, предшествующей образованию современных государств. Во второй половине XIX века буржуазное общество подвергается ожесточенной критике с двух различных позиций.

Писатели и философы «декаданса» видят в этом обществе его уродство. Сравнивая его со средневековьем, они вслед за романтиками говорят об исчезновении веры, об исчезновении идеалов и сильных человеческих типов. Эти авторы изображают яркими красками выравнивание и упрощение жизненных целей, в которых все больше преобладают заботы о материальном благополучии. В общем, теоретики «декаданса» в один голос объявляют капитализм таким строем, в котором жизнь банальна и скучна. Пожалуй, критика с этих позиций мало относится к нашей непосредственной задаче. Ведь профессор Хайек вовсе не заботится о том, чтобы сделать человеческую жизнь сколько-нибудь интересной, и не обещает, что рыночное хозяйство ведет к этой цели. Он только обещает выживание наибольшего числа людей – все равно, каких людей, счастливых или нет. Хотя, может быть, материальное благополучие и является для него синонимом счастья. Так или иначе, жалобы идеологов «декаданса» не представляют прямой угрозы для существования «расширенного порядка».

Гораздо сильнее критика «социалистов», объявивших своей целью «социальную справедливость». Их главным идеологом был, конечно, Маркс, оказавший огромное влияние на мышление и общественную жизнь своей эпохи, и еще больше – XX века. Социалисты утверждали, что в основе капиталистического строя лежит обман: собственники предприятий присваивают

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
себе значительную часть произведенного продукта, не соответствующую их собственному труду, и тем самым крадут труд своих рабочих. Мы рассмотрим дальше, справедливо ли такое утверждение; но, во всяком случае, оно сыграло важнейшую роль в истории прошлого и тем более нашего века. Общественное движение, стремившееся к «социальной справедливости», в некоторых странах полностью разрушило капитализм, а в других существенно изменило его характер, ограничив свободу распоряжения собственностью и вызвав целый ряд «неэкономических» государственных мер, которые так не любит профессор Хайек. Можно сказать, что в этих странах весьма усилилось государственное регулирование экономической жизни – а это, в терминологии Хайека, и есть «социализм». Но еще до того, как «разрушительные доктрины социализма» оказали серьезное влияние на западное общество, оно пришло к катастрофе Первой мировой войны. Я не доказываю здесь, что капитализм неизбежно ведет к войне; напомним, что на этом этапе исследования мне надо доказать лишь факт упадка западной культуры, а этот факт теснейшим образом связан с Первой мировой войной. [10] Война эта составляет столь отчетливую границу двух исторических эпох, что естественно было бы считать началом XX века 1914 год. [13]

## 5. XX век

Наиболее очевидным следствием Первой мировой войны было окончательное крушение европейского феодализма. В изнурительной окопной войне, в безнадежных атаках под пулеметным огнем была истреблена элита немецкой, французской, английской и русской аристократии, знатная молодежь, принесящая себя в жертву Молоху воинственного национализма. Это была последняя война, в которой офицерский корпус или во всяком случае его ведущие кадры были дворянского происхождения. После Первой мировой войны национализм теряет свой феодальный, господский характер и становится религией плебса. Чудовищное и бессмысленное жертвоприношение опустошило также и весь образованный слой европейской молодежи, молодое поколение «старой» буржуазии, подражавшей в своем образе жизни аристократии, изучавшей науки и понимавшей искусство. Итогом войны была радикальная «демократизация» европейской жизни, затронувшая уже не только государственное устройство, но также обычаи, вкусы, весь стиль повседневная утонченность и изысканность, что проявлялось прежде всего в области манер. Огрубление жизни, сведение ее к «существенным» материальным потребностям, устранение всего «лишнего», всех «украшений», прикрывающих грубое проявление инстинктов, было оборотной стороной этого «демократического» переворота, политически выразившегося в русской, германской и австро-венгерской революциях, в гражданских войнах и восстаниях, но происшедшего также и в странах, сохранивших свой государственный строй. «Равенство», торжествовавшее свою решительную победу, сопровождалось, согласно предсказанию Токвиля, резким упадком культуры. Этот процесс изображен во многих произведениях литературы того времени: в «солдатских» романах Ремарка, Барбюса и Селина, в хронике гражданской войны Булгакова и Вересаева, в «буржуазной» эпопее Голсуорси. Несколько позже его проницательный анализ дал философ Ортега-и-Гассет в своем «Восстании масс». «Прогресс» разрушает иерархический строй жизни, но вместе с ним и цветущую сложность культуры; на смену ей приходит та простота, о которой русская пословица справедливо говорит, что она «хуже воровства». Впрочем, прогрессирует и прямое воровство, потому что чувство чести и порядочности, предполагающее известную сословную традицию, во многом противоположно «эгалитарной демократии». Дух «равенства» проявляется у нас в ненависти к «очкарикам» и носящим шляпы, в заплеванных тротуарах и вокзалах, в матерщине и погромах. Все это отражено в гениальной повести Булгакова «Собачье сердце». Европейская интеллигенция в своем замешательстве готова приветствовать эту «революцию равенства», начиная с глупого Брюсова, сочиняющего гимны «грядущим гуннам», до умного Томаса Манна, готового склонить голову перед неодолимым шествием «коллективизма».

Вскоре после Первой мировой войны появляются первые попытки понять происходящее. В 1918 году выходит книга Освальда Шпенглера «Закат Европы» [Der Untergang des Abendlandes, в точном переводе: «Упадок Запада».], констатирующая, что западная цивилизация прошла свою высшую точку развития и клонится к упадку. Концепция истории у Шпенглера не оригинальна; он соединяет идею «циклического повторения» исторических событий,

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) заимствованную у греческого историка Полибия, с механическим применением к человеческому обществу представления о «борьбе за существование» в духе социал-дарвинизма. Шпенглер – пессимист, фаталистически принимающий якобы непреодолимый ход истории; с такой установкой мы часто встречаемся у писателей, не верящих в возможности человека и стоящих на коленях перед историей, по существу обожещаемой в том же духе, как наши первобытные предки обожещали непонятные им силы природы. Пессимизм не мешает Шпенглеру проявлять свои собственные предпочтения: если уж суждено вырождение культуры в примитивную борьбу за власть между воинствующими интересами, то Шпенглер желает победы германскому империализму. Он приветствует, таким образом, «грядущих гуннов», которые не замедлили явиться еще при его жизни: нацисты могли использовать его сочинения.

Гораздо более интересный анализ распада европейской культуры дал Альберт Швейцер в лекциях, читанных в Упсале в 1923 году [Verfall und Wiederaufbau der Kultur (Упадок и восстановление культуры), Kultur und Ethik (культура и этика)]. В противоположность механистическому подходу Шпенглера, Швейцер глубоко анализирует конкретные условия, вызвавшие упадок культуры в Европе. Замечательно, что он пришел к этим мыслям еще до мировой войны, около 1900 года. Тенденцию к «упрощению» культуры он усматривает уже в конце XVIII века, в рационалистических построениях деятелей французской революции. Противопоставляя этим искусственным конструкциям идею органического роста культуры, Швейцер не принимает, однако, пассивного фаталистического взгляда на историю; он видит человека активным деятелем истории, подчеркивая этическую сторону культуры. Швейцер сознает, что этика, ранее основывавшаяся на «откровенной» религии, в наши дни нуждается в новом обосновании, и надеется установить ее на принципе «благоговения перед жизнью». Я не буду говорить здесь об этих попытках построения новой этики. Меня интересует здесь самый факт упадка культуры, пронизательно изображенный Швейцером, а вслед за ним и множеством других философов и писателей. Можно сказать, что представление об упадке нашей культуры стало в этой культуре общим местом, а непонимание самого факта свидетельствует о низком уровне культуры говорящего и коррелировано с другими очевидными признаками примитивного мышления.

Некоторые мыслители, отчаявшись в «прогессе», пытались найти выход в простом возвращении к прошлому. Самым интересным примером этого был Экзюпери. В своем неоконченном произведении «Крепость» [La Citadelle] он хотел составить нечто вроде евангелия для нашего времени, восстановив почтение перед авторитетом традиции – в сущности, все равно какой. Глашатаем традиционной культуры Экзюпери избрал берберского князя, а смысл его проповеди сводится к восстановлению естественного неравенства людей в форме весьма бездуховного феодализма. Поскольку сам Экзюпери был неверующий, он называет «богом» всего лишь безразличный символ авторитета: «Я не люблю, когда Бог приходит в движение. Пусть он неподвижно сидит на своем престоле». Пытаясь восстановить принцип авторитета любой ценой, даже ценой жестокости и устрашения, Экзюпери не умеет убедительно оправдать повиновение ему. Но тогда сам авторитет уже не имеет значения, а повиновение становится самоцелью, как это было у нацистов. Неудивительно, что Экзюпери не мог завершить свой труд и погиб в борьбе с теми, кто хотел насильственно вернуть мир к столь же нелепой реконструкции прошлого. Он был глубокий философ, осознавший разложение нашей культуры и впавший в отчаяние, не видя способа ее спасти.

\*\*\*

Самое очевидное доказательство упадка культуры в XX веке получается при сравнении нынешних газет и журналов с теми, какие были около 1850 года. Уже в 1923 году Альберт Швейцер писал:

«Умственный уровень всего этого множества рассеянных, не способных к концентрации людей производит обратное действие на все органы, которые должны были бы служить образованию и тем самым культуре. Театр вытесняется развлекательными и зрелищными предприятиями, оригинальная книга теряется среди пустых. Газеты и журналы должны все больше считаться с необходимостью доводить все до читателя в самой легкодоступной форме. Сравнение среднего уровня современной ежедневной печати с печатью, бывшей пятьдесят или шестьдесят лет назад, свидетельствует о том, насколько ей пришлось измениться в этом направлении.»

Проникнувшись поверхностным настроением, органы, долженствующие поддерживать уровень духовной жизни, производят обратное действие на общество, доведшее их до такого состояния, и навязывают ему безмыслие».

Со времени, когда были написаны эти слова, печать опустилась до полного маразма. Теперь нельзя уже говорить о том, что публика вынуждает

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
журналистов опускаться до ее уровня; журналисты давно уже опустились до самого нетребовательного вкуса и понимания. Они знают, что «массовый» читатель не станет разбираться в длинных статьях, не способен проследить сколько-нибудь серьезное рассуждение и сердится, когда у него предполагаются какие-нибудь знания. Их задача – разрубить материал на короткие статейки с броскими заголовками, действовать на воображение сенсациями, дешевыми парадоксами и непристойностями. Многоцветная реклама, доставляющая этой печати основную часть дохода, направлена на предполагаемые жизненные цели читателя – спиртные напитки и секс. Это печать, рассчитанная на идиотов, и я думаю, что средний нынешний читатель не дошел все-таки до такого идиотизма. Здесь действует конкуренция глупых дельцов, раз навсегда усвоивших некоторый стандарт общепринятой пошлости и соревнующихся в рамках этой условности.

Я очень хорошо знал об упадке печати и все-таки несколько раз был поражен сравнением с прошлым. Во время революции 1848 года русский публицист и критик Анненков, находившийся тогда в Париже, составил обзор французских газет и журналов всех направлений и вкусов, с выписками из статей и пояснениями. Удивительна проявляющаяся в этой печати культурность пишущей публики – и предполагаемая культурность читающей. Очевидно, что это были люди, учившиеся в серьезных школах гуманитарным наукам, знавшие множество вещей из истории, литературы и даже философии и – что больше всего бросается в глаза – усердно учившие латынь. Конечно, авторы были очень разные и босчитанными, конечно, на читателя, не справлявшегося об их смысле в словаре Ларусса.

Самый популярный литературный критик того времени Сент-Бёв писал для высоко образованного читателя. Его экскурсы в историю французской литературы выходят далеко за пределы моего чтения и, как я уверен, бросили бы вызов эрудиции самых начитанных нынешних французов. Тонкость его наблюдений, вся ткань его сложного повествования адресованы человеку, знающему толк в книгах и умеющему оценить умный разговор о них. Одним из почитателей Сент-Бёва был молодой человек, впоследствии писавший под псевдонимом Анатоль Франс. И эти люди вовсе не были антиквары и библиофилы; я запомнил смолоду фразу из «Аббата Куаньяра»: «Кто рассуждает, никогда не взлетит» [14].

Другими сильными переживаниями были для меня эссе Маколея, опубликованные главным образом в журнале *Edinburgh Review*[15]. Читая с увлечением эти длинные, глубокие статьи, я не сразу осознал, что это была журнальная литература того времени, что джентльмены, выписывавшие этот журнал, не нуждались в переводе цитат на разных языках и в комментариях об упоминаемых авторах. Образованность читателя подразумевалась. Подразумевался также широкий круг интересов: история, философия, современная политика занимали читателя так же, как все разнообразие европейских литератур. Все это вспомнилось мне, когда один знакомый американец в разговоре со мной принялся высмеивать викторианскую эпоху, приписывая ей узость взглядов, классовую ограниченность и ущербную мораль. Конечно, этот человек не знал, о чем говорит, повторяя вычитанные где-то фразы. Нетрудно указать, в чем мы превосходим викторианского джентльмена; но весьма поучительно подумать, в чем он превосходил нас. Было бы интересно знать, какой человек впервые высадился на Луне. Перед нами поразительный триумф «равенства»: через некоторое время будут возить на Луну туристов, как теперь возят в Антарктиду.

Я не сравниваю здесь русскую печать прошлого века с нынешней: результаты такого сравнения были бы слишком очевидны, но их можно было бы объяснить особым историческим несчастьем, постигшим Россию – трагически не удавшейся революцией и ее последствиями. Поэтому я взял здесь примеры, касающиеся Западной Европы, где процессы упадка происходили без такого рода катаклизмов.

По-видимому, есть некоторые общие закономерности распада цивилизаций. В конечной их стадии увядание литературы, искусства и убожество политической жизни сопровождаются расцветом точных наук и в особенности техники. Так было в александрийский период и в конце Возрождения. К концу нашего века точные и естественные науки все еще преуспевают, хотя главным образом в смысле количественного приращения знаний; а техника сможет использовать оставленный наукой «задел» в течение столетий, если только не погубит человечество какой-нибудь новой игрушкой. Посмотрим теперь, что произошло в нашем столетии с духовной культурой.

До середины прошлого века предполагалось, что общественным мнением и самосознанием отдельного человека руководит философия. Мышление философов воздействовало на образованную часть общества, на университетскую среду и учащуюся молодежь, а затем, в виде «популярной философии» [Выражение Швейцера.] или идеологии, передавалось широкой публике. Швейцер начинает

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

свои лекции с тезиса о «вине философии» перед современным человечеством, и вина эта состоит в том, что ее больше нет. Центральной, важнейшей областью философии всегда была «онтология» – учение о смысле человеческой жизни, о назначении человека в мире и о целях его жизни «элементарной философией». Очевидный факт состоит в том, что такая философия почти исчезла. С середины прошлого века были предприняты лишь три серьезных попытки ее возродить. Две из них (Ницше и Экзюпери) пытались побудить человечество прервать его «прогрессивное» развитие и вернуться к некоторой фазе предыдущего развития: у Ницше этим «идеализированным прошлым» была фантастически искаженная им эпоха Возрождения, у Экзюпери – феодальное средневековье. Единственным автором, видевшим подлинные причины происшедшего в нашем веке разрушения культуры и искавшим пути ее восстановления, был Альберт Швейцер, к философии которого мы еще вернемся. Что касается подавляющего большинства профессиональных философов нашего века, то их интересы ушли далеко от «философии человека». Самые способные из них, такие, как Рассел, Поппер, Рейхенбах, посвятили себя теории познания, анализируя познавательную способность человека в применении к природе и в особенности важнейшие физические достижения их времени – теорию относительности и квантовую механику. Другие принялись изучать «историю философии» и вряд ли особенно преуспели в этом, за исключением руководящих общих идей. В общем, в философии человека XX век почти ничего не дал; отсюда понятно общее недоверие и даже презрение к философии, заметное не только в широкой публике, но особенно в среде ученых.

Отсутствие общих идей проявилось во всех гуманитарных науках: достаточно посмотреть, что произошло с историей. В нашем веке не было больше серьезных попыток исторического синтеза; вообще, всякая обобщающая, рефлексивная деятельность рассматривалась как старомодное, произвольное философствование, и ценились только конкретные исследования фактов прошлого. Примечательно, что материальные факты при этом решительно предпочитались человеческим фактам. Единственное серьезное продвижение в нашем знании о человеке – возникший в самом начале века психоанализ – не вызвал глубокого пересмотра действовавших в истории человеческих мотивов. Крупнейшие достижения историографии относились к материальной культуре; именно этим занимались крупнейшие историки нашего века, такие, как Ростовцев или Бродель.

Общепризнано, что XX век не создал выдающейся художественной литературы. Это особенно заметно при сравнении его с XIX, создавшим высшие ценности во всех ее областях. Самые интересные писатели нашего века были, по существу, продолжателями традиции прошлого: они сформировались до 1914 года. Можно перечислить этих последних представителей великой европейской литературы: Томас Манн в Германии, Харди и Голсуорси в Англии, Мартен дю Гар во Франции, Булгаков и Замятин в России. То, что считается серьезной литературой XX века, становится чем-то вроде любительской психиатрии. Исчезает цельность литературного произведения. Сюжет объявляется чем-то ненужным и старомодным; изображение живого человека в реальных обстоятельствах заменяется отрывочным описанием отдельных сцен и заимствованным из кино «монтажом»; интеллектуальная этическая жизнь человека игнорируется, поскольку единственным важным мотивом поведения считается инстинкт. Человек становится в этой литературе свихнувшимся животным. Замечательно, что все эти авторы, изучавшие процессы распада, очень скучны. Чтение их становится мучительным занятием, и круг читателей «серьезной» литературы резко сужается. В западных университетах существуют кафедры литературы, где «специалисты» следят за меняющейся модой и нечто пишут о новых талантах; но обществу до этой литературы нет дела, и не случайно на литературный заработок нельзя прожить. Этот общеизвестный факт, при огромной массе возможных читателей, больше всего говорит об упадке серьезной литературы. Широкая публика читает детективы, порнографические сочинения и сентиментальные «дамские» романы. Я не буду говорить здесь об обязательных стандартах секса и насилия, делающих эту беллетристику чисто коммерческим продуктом.

Примерно те же явления распада происходят в изобразительном искусстве. Разумеется, и здесь «специалисты» объявляют каждый новый период Пикассо великим событием в искусстве, но сменяющие друг друга «измы» выдохлись уже полвека назад. К концу века стало ясно, что поиски новых средств выражения, как и в литературе, вытеснили из искусства всякое содержание. Обращение к примитивным культурам и особое внимание к примитивному в человеке тоже являются признаком упадка, известным историкам культуры. По-видимому, изобразительное искусство утратило теперь всякий интерес для публики. Никто не следит больше за попытками состряпать еще один «изм» – в Париже или Нью-Йорке. Кажется, «эстетика» промышленного дизайна вполне удовлетворяет современного потребителя, так что профессия художника или скульптора

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) неизбежно ведет его в торговую рекламу. Немногие художники, вошедшие в моду, могли (или еще могут) продавать свои произведения богатым людям, ищущим надежный способ вложения денег. Цены устанавливает рынок, но это уже не искусство.

Европейская музыка, по существу, окончилась в начале века и теперь существует, как и литература, в виде чего-то вроде ученой дисциплины в университетах и консерваториях. Никого не интересует, что кто-то еще сочиняет симфонии и квартеты. Рынок существует лишь для старой музыки – и довольно узкий. Главным образом продается «популярная музыка» разного рода, выполняющая важную организующую функцию в эмоциональной жизни культурно опустившегося человека. Звучание этой музыки, на расстоянии до иллюзии напоминающее работу машины, всем известно. Причины ее популярности скорее относятся к психиатрии. Во всяком случае, такой примитивно упрощенной музыки не было не только в нашей культуре, но и ни в какой другой.

Вопрос состоит в том, сможет ли такая «упрощенная» культура продолжить и сохранить «расширенный порядок», то есть капитализм. «Упрощение» касается, как мы еще увидим, не только «культурной суперструктуры» – науки, литературы и искусства – но и самых основных структур западного общества, семьи и собственности. Семья утратила свой сакральный, морально обязывающий характер; собственность утратила свою непосредственную связь с личностью хозяина – во всяком случае, крупная собственность. «Моральные правила» нашего общества лишились своей глубокой эмоциональной основы и все больше превращаются в абстрактные «правила игры», принимаемые, как предполагается, для общей пользы. Как заметил еще Швейцер, такое «упрощение» общества, происходящее при распаде его духовной культуры, часто игнорируют, полагая, что рыночная система содержит в себе магические целебные силы, всегда способные изменить «моральные правила» в направлении, нужном для сохранения «расширенного порядка». Но рынок был всегда, начиная с наших примитивных предков. Профессор Хайек, конечно, выделяет под этим именем специфическую рыночную систему – капитализм, с очень определенными «правилами игры», хорошо известными всем, кто наблюдал эту систему в действии или хотя бы изучал ее по литературе. Раньше, до современного капитализма, эти «правила» были иными. Что же будет гарантировать сохранение «правил», поддерживающих «расширенный порядок», когда культура общества совершенно изменится в том направлении, в каком она уже изменится в наши дни? Я хотел бы подчеркнуть, что в этом рассуждении можно избежать всяких «оценочных» характеристик и не говорить о том, «хорошо» или «плохо» направление изменения культуры. Достаточно сослаться на то, что «моральные» установки современного человека уже далеко отошли от установок «викторианского» общества, где сложился идеал рыночного хозяйства, предстоящий перед профессором Хайеком, и без сомнения, отойдут еще дальше, если в обществе не произойдет какая-нибудь «культурная революция».

Чтобы доказать тезис о неизбежном разрушении капитализма, я последую примеру Карла Поппера, друга профессора Хайека, бывшего выдающимся логиком, но столь же мало содействовавшего пониманию этого общественного строя. Поппер справедливо полагал, что для доказательства невозможности явления достаточно рассмотреть одно его логическое следствие, и если мы приходим при его тщательном выводе к абсурду, то доказательство можно считать завершенным [16]. Мы уже говорили о распаде трудовых установок, разрушении добросовестности рабочей силы и невозможности изменить этот процесс покупкой лучшего воспитания. Можно было бы говорить о разрушении природы, о неконтролируемом росте населения, о генетическом вырождении, об убийственных последствиях бессмысленной конкуренции и о многих других явлениях, с которыми безусловно неспособен справиться капитализм [Об этом с потрясающей ясностью говорится в книге Конрада Лоренца «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества преступности. Все согласятся с тем, что это явление, продолжающееся в течение ряда десятилетий, не может быть случайным и коренится в изменении моральных установок молодежи, зависящем от воспитания. Никто не станет отрицать тот очевидный факт, что законодательные меры и техническое оснащение полицейской и пенитенциарной системы, при очень больших расходах, не привели к сколько-нибудь заметному замедлению роста преступности, а всего лишь содействовали срастанию мафиозных структур с государственными и росту коррупции. Посмотрим, чего следует ожидать, например, от развития преступности в Соединенных Штатах. Как известно, крупные американские города давно уже стали рассадниками преступности, пропорциональной массе относительно бедного населения, проживающего в центральных районах этих городов, в так называемых «трущобах». Значительная часть этого населения состоит из хронически безработных людей, живущих на различные государственные пособия под названием уэлфер (welfare) или на пособия разных филантропических организаций. «Правила игры» американского общества предусматривают (хотя и

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
не в законодательной форме, но весьма реалистическим образом для заинтересованных лиц), что черные получают работу в последнюю очередь и, вследствие существующей системы образования, редко подготовлены к высокооплачиваемой работе. Поэтому черные составляют непропорционально большую часть безработных, получающих пособия. Безработица больше всего затрагивает молодежь, выступающую на рынках труда, и особенно черную молодежь. В этой среде городских гетто, населенных деморализованными, часто почти не работающими людьми, и формируются структуры преступного мира. Система уэлфера была введена, в ее нынешнем виде, при президенте Джонсоне в конце шестидесятых годов, после волны беспорядков и мятежей в негритянских гетто. Государство, будучи не в состоянии обеспечить работой городскую бедноту, стало попросту покупать ее спокойное поведение – и не без успеха. Но успех этот состоял лишь в уменьшении массовых беспорядков, а вовсе не в укреплении трудовой морали и росте занятости населения. Напротив, все исследователи, и особенно авторы консервативного направления, пришли к выводу, что при существующей системе социального страхования уэлфер только порождает уэлфер, но никоим образом не снимает безработицу и связанную с ней преступность. Никто уже не верит, что можно купить лучшие результаты, при любом способе вложения государственных денег.

Таково сложившееся положение вещей на рынке рабочей силы или, по меньшей мере, безработной силы. Отправляясь от этой ситуации, описанной выше в общепризнанной форме, попытаемся определить, к чему может привести ее дальнейшее развитие.

Можно представить себе два сценария, первый из которых назовем (условно) умеренно-консервативным, а второй – крайне консервативным. Умеренно консервативный сценарий состоит в том, что государство будет по-прежнему вести «беспринципную» политику уступок бедному населению, иногда брать эти уступки назад под давлением «среднего класса», а затем возвращаться к ним под давлением беспорядков и мятежей. Крайне консервативная политика (которой хотел бы Хайек и которую не мог проводить его сторонник президент Рейган) состоит в том, чтобы вообще отказаться от государственной помощи безработным, по возможности ограничить все виды социального страхования (по старости, от болезней и т. п.) и предоставить нуждающихся их собственным силам или филантропии частных лиц. Сценарии, предусматривающие радикальные перемены в управлении производством, мы можем оставить в стороне, так как с точки зрения Хайека это уже был бы «социализм» и конец «расширенного порядка» – а в этом случае нам было бы нечего доказывать.

Умеренно консервативный сценарий, как показывает весь предыдущий опыт, лишь увеличивает массу не работающего или мало работающего населения, что не обязательно приведет в обозримом будущем к серьезным мятежам (хотя и может привести к ним), но непременно приведет к дальнейшему росту преступной среды; так было в течение ряда десятилетий, когда проводилась та же «беспринципная» политика, и нет сомнений, что без чрезвычайных государственных мер (массового полицейского контроля, обысков, облав, концентрационных лагерей) дела будут идти так же, как до сих пор. Любая попытка провести такие меры означала бы переход к тоталитарному строю и конец «расширенного порядка»; следовательно, мы можем оставить этот путь в стороне.

Крайне консервативный сценарий маловероятен: он встретился бы с массовым стихийным, а затем и организованным сопротивлением бедных слоев населения, уже давно привыкших к благодеяниям уэлфера и не боящихся репрессий со стороны слабого и всегда расколотого истеблишмента. Люди, которые попытались бы подавить такое сопротивление (демонстрации, голодовки, неуплата налогов, мятежи в гетто), потеряли бы все шансы на ближайших выборах, поскольку бедняки составляют достаточную долю избирателей, чтобы решить исход состязания двух традиционных партий, а демократическая партия безусловно выскажется против отмены уэлфера. Если бы все представители среднего класса соединились с этой целью (чего еще никогда не было и что трудно предвидеть в будущем), то бедное население, привыкшее к государственной помощи и безнаказанности своих «протестов», перед лицом такой классовой блокады несомненно вышло бы из повиновения закону. Понадобилось бы использование армейских частей, кровопролитие привело бы к уступкам, и вернулись бы к первому сценарию.

Вывод состоит в том, что при сохранении «расширенного порядка» (т. е. современного капитализма с соблюдением «демократических» процедур) преступность остановить нельзя. Но тогда крах этого «порядка» есть только вопрос времени. Убийство президента Кеннеди, и особенно ход расследования этого убийства, свидетельствуют о таком разложении «правового государства», какое нельзя было себе представить пятьдесят лет назад. Продержится ли «расширенный порядок» еще пятьдесят лет? Думаю, что без решительных

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
глобальных реформ, которые сделают его чем-то другим, не продержится, а рухнет и втянет в катастрофический кризис весь мир. Я не имею здесь в виду «центральное управление экономикой» на советский лад: «глобальные реформы» означают новое понимание обществом своих основных ценностей, которое найдет выражение мирным демократическим путем. Возможно ли это, мы рассмотрим дальше.

## 6. Что такое «социальная справедливость»?

Мы переходим теперь к центральному вопросу нашего исследования: что такое «социальная справедливость» и что означают слова «капитализм» и «социализм». Очевидно ключевое значение имеет первое понятие: если не имеет смысла говорить о социальной справедливости, если это выражение – выдумка мечтателей и демагогов, то все претензии социалистов (и либералов в современном смысле этого слова) сами собой отпадают. Эффективность экономики оказывается в этом случае самым важным общественным делом, и поскольку «капитализм» более эффективен в этом смысле, чем любая другая известная нам система, то надо пытаться любой ценой его сохранить. Если – как можно видеть из предыдущего – это в исторической перспективе невозможно, то в интересах населения надо хотя бы продлить его существование. В таком случае профессор Хайек был бы прав.

Чувство социальной справедливости принадлежит как раз к той области человеческих эмоций, которые эволюция выработала в малых группах наших первобытных предков и которые Хайек хочет изгнать из своего «расширенного порядка». Для сохранения нашего вида необходимо было, чтобы информация о важных для всех людей – и вначале для всей первобытной группы – фактах и способах действия не удерживалась в тайне открывшим ее индивидом, а становилась достоянием всего сообщества. Инстинкт внутривидовой агрессии, из которого возникли, как известно, все высшие эмоции животных и человека, существует только у хищников, то есть животных, питающихся мясом убитых животных [17]. Это может показаться сомнительным началом идей гуманизма, но только у хищников возникло узнавание индивида, а вслед за ним эмоции дружбы и любви; мы знаем теперь с полной ясностью, как это произошло. Подчеркну, что речь здесь идет не о философских конструкциях, а о научно установленных фактах [18]. Так вот, у хищников, живущих коллективно, существует инстинктивно закрепленная «обязанность» делиться добычей с другими членами стаи, особенно с еще не способным к охоте потомством. Можно, разумеется, сказать, что не все инстинкты наших животных предков обязательны для нас, людей; но при исследовании общества с ними надо считаться. Я уже говорил, что христианство сильнее всего подчеркивало недопустимость сокрытия материальных благ для исключительно личного употребления. В главе 5 «Деяний апостолов» находится рассказ о том, как апостол Петр поразил смертью супругов Ананию и Сапфиру, утаивших от общины часть денег, вырученных от проданной земли. Как уже упоминалось выше, средневековые цехи, руководствуясь коллективным интересом и оправдывая свои правила христианским учением, требовали, чтобы каждый ремесленник делился со своими собратьями всеми сведениями об источниках сырья, не оставляя ничего в тайне для собственной выгоды, и назначали справедливые цены на свои изделия, не пытаясь выиграть какие-нибудь преимущества в сложившихся рыночных условиях. Конечно, как раз способы поведения, запрещенные христианской этикой и обычаями честных людей, лежат в основе деятельности современного дельца, и профессор Хайек одобряет их с откровенностью, не останавливающейся перед неприличием и делающей честь его научной добросовестности. Хайек не скрывает того, что знает; он не понимает многого, что знает, и еще больше не хочет знать. Я докажу это дальше с полной отчетливостью; пока же ограничусь замечанием, что человек, столь резко порвавший с христианской традицией (и сам признающий себя неверующим) вряд ли может считаться «консерватором». Ведь консерватором называют того, кто хочет сохранить сложившийся общественный порядок, то есть европейскую культурную традицию и связанные с ней способы поведения, а вовсе не усредненные в течение нескольких десятилетий нравы рыночных дельцов, с их готовностью менять «правила игры» в зависимости от ситуации. Именно таковы «моральные правила», принятые при капитализме: это не консервативная, а ситуационная мораль. Но вернемся к проблеме «социальной справедливости».

Понятие о справедливости можно анализировать, критиковать или вовсе



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
отбросить как не поддающееся определению; но игнорировать его нельзя, так как оно сильнейшим образом влияет на мышление и поведение людей. Профессор Хайек, признающий себя неверующим, отнюдь не игнорирует религию; в конце своей книги он допускает, что религия играет важнейшую роль в поддержании «моральных правил», необходимых для успешного функционирования рынка. На чем же основано острое ощущение несправедливости существующего строя жизни, укоренившееся в западной цивилизации? Именно это ощущение, ясно выраженное мыслящей интеллигенцией Европы, всегда присутствовало в психической установке трудящихся масс; поэтому идеи социализма, выработанные образованными людьми, упали на подготовленную почву и изменили облик западного мира – даже там, где не было революций и где рыночный механизм существовал без особенных препятствий.

Простое наблюдение, оскорбляющее наше чувство справедливости, состоит в том, что блага этого мира достаются не самым лучшим, а самым хитрым. Профессор Хайек описывает образ действий капиталистического дельца с откровенностью, которой отличался в свое время «неприличный» писатель Бальзак, и вряд ли надо доказывать, что главное условие обогащения в точности описывается словом «хитрость». Неверно, что вознаграждается изобретательность: подлинный изобретатель, вложивший в какое-нибудь техническое новшество свою мысль и свой труд, получает ничтожную долю выгоды от своего изобретения, и очень часто его прямо обкрадывает капиталист, присваивая всю выгоду себе. Хитрость, позволяющая обогатиться, состоит в том, чтобы вовремя занять удобное место, безжалостно отталкивая от него всех конкурентов, а затем извлекать преимущества из занятого положения. Это не что иное, как искусство карьеры, применяемое в экономической жизни. Видели ли вы, как толпа некультурных людей врывается в подошедший автобус? Это обычная картина в нашей российской жизни, но теперь, по мере разложения культуры на Западе, это можно увидеть и там. Более совестливые люди не решаются отталкивать женщин, детей и стариков, и даже войдя в автобус, стесняются сесть на место, которое приготовился занять кто-то другой. Тем временем беззастенчивые типы пролезают вперед, не обращая внимания на неудовольствие публики, быстро оглядываются и бесцеремонно занимают лучшие места, чтобы затем никому их не уступить. Это и есть секрет удачливого дельца – не единственный, но самый важный секрет. Конечно, можно утверждать, что он лучше других «оглядывается», то есть быстрее видит, как захватить лучшее место. Но вряд ли это качество можно назвать изобретательностью: оно связано не с умным изучением природы, а с ловкой манипуляцией людьми. Часто можно услышать мнение, что капиталист вознаграждается за его труд по «организации производства». Но даже в прошлые времена, когда собственник был зачастую собственным менеджером, его вознаграждение не шло ни в какое сравнение с жалованьем наемного управляющего: он «вознаграждался» просто за владение собственностью; теперь же, когда собственники крупных предприятий передали всю «организацию производства» менеджерам, инженерам и экономистам, оправдывать их «дивиденды» каким-нибудь трудом просто смешно. Собственник – The Man of Property – не должен особенно трудиться, но должен быть достаточно хитер, чтобы сохранить свое положение среди таких же, как он. В этом ему помогают те абстрактные «моральные правила», которые восхваляет профессор Хайек. Как бы он ни приобрел свою собственность, ее охраняет закон. Точно так же наглец, захвативший удобное место в автобусе, сохраняет его, потому что «не принято» стаскивать с места того, кто уже сидит: иначе его мог бы вытолкнуть кто-нибудь посильнее. Это подразумеваемое «не принято» может быть невыгодно кому-нибудь, кто остался без места, но можно не без оснований утверждать, что нарушение такого «морального правила» привело бы к всеобщей свалке, невыгодной для всех. Собственно, это и все, что может сказать профессор Хайек в защиту своего «расширенного порядка»; все остальное – ученость и риторика. Но мы обязаны продолжить наш анализ, для которого профессор всего лишь предлог.

Я вовсе не претендую на то, что первый разгадал секрет житейского успеха – в любом обществе, и особенно в «расширенном» обществе наших дней. Как только установился «расширенный порядок», даже прежде, чем он окончательно утвердился, его исчерпывающим образом описал Бальзак, снискавший себе этим славу неприличного писателя и дьной жизни. Историк материальной культуры Фернан Бродель, по-видимому, осмеливался додумывать это до конца, хотя лишь робко намекал на конечный вывод в начале второго тома своей истории капитализма: академическому ученому неловко было впадать в морализаторский тон. Но еще раньше, в XVIII веке, эту нехитрую тайну хитрых людей выдал бесстыдный шутник Бомарше. Комедия об изворотливом фигаго оканчивается водевилем, где на латинскую банальность *gaudeant bene patī* (да радуются благородные) отвечают каламбуром *gaudeant bene nantī*, испорченная латынь которого означает: да радуются ловкачи. Богатство при

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
капитализме очень редко возникает из честного труда или таланта; чаще всего оно вознаграждает хитрость и беззастенчивую манипуляцию людьми, а «моральные правила», то есть законы и внушаемые людям привычки, позволяют ловкачам сохранять и умножать свои приобретения. Беспристрастное исследование приводит даже к выводу, что «в основе больших состояний всегда заложено преступление», но я не буду на этом настаивать, тем более, что преступления эти обычно не выходят за пределы мошенничества. Факты, выясненные по поводу Рокфеллеров, Карнеги и Морганов, показывают, что в конце XIX века не было еще надобности прибегать для этого к убийствам.

Подозрения простого человека по поводу крупных состояний отнюдь не были спровоцированы копанием некоторых «разгребателей грязи» в архивах. Они начались гораздо раньше. Не каждый мог наблюдать образ жизни Рокфеллера, но жизнь богатых людей, хозяев предприятий, проходила у всех на глазах. Несоответствие между их трудом и их доходами почти во всех случаях бросается в глаза, и особенно бросалось в глаза в XIX веке, когда хозяева были всем известны и бесстыдно выставляли напоказ свою роскошь. Тогда и зародился «социализм».

Я хорошо знаю, что возразили бы мне – и простому человеку – профессор Хайек и его друзья, и сейчас выскажу это за них. Они сказали бы: «Вы можете как угодно оценивать моральную сторону того, что делает богатый человек, но труд следует измерять не затраченным временем, а его социальными последствиями. Опыт, интуиция богатого человека, его умение понимать людей и обращаться с людьми – все, что вы называете «хитростью» – могут понадобиться не каждый день, но в решающие моменты, для принятия финансовых и административных решений, и без опыта и интуиции предприятие не сможет преуспевать. Общество справедливо оплачивает их особые способности, без которых не было бы возможно приращение общего богатства». Я не заимствовал эти слова ни у кого из друзей профессора Хайека, но они писали все это тысячи раз; как читатель может убедиться, я знаю их аргументацию. Начну с некоторой уступки моим оппонентам: я объясню, в чем они правы, а потом окажется, что эта их правота несколько не опровергает того, что я хочу сказать.

Несомненно, что при рыночном хозяйстве конкуренция способствует развитию производства, а при любом известном нам нерыночном хозяйстве недостаток конкуренции вызывает экономический застой. Это знал еще Адам Смит, и мы в дальнейшем вернемся к тезису о полезности конкуренции. Как известно, этот тезис, зародившийся в экономической науке, через Мальтуса оказал решающее влияние на Дарвинову концепцию естественного отбора; впоследствии же он, вероятно, повлиял на объяснение внутривидовой агрессии борьбой за охотничьи участки. Здесь можно видеть, как идеи прошлой экономической науки влияли на биологию; а в дальнейшем читатель увидит, чему биология, в свою очередь, может научить экономистов. Предположим, что приведенное выше возражение моих оппонентов справедливо и что при капитализме необходимы неприятные формы «борьбы за существование», создающие наших несимпатичных дельцов. Предположим даже, что их полезную функцию – манипулирование людьми в ходе конкуренции – никто не стал бы выполнять за меньшее вознаграждение, чем они. Может ли эта аргументация убедить простых тружеников, или тружеников умственного труда, направляющих свои усилия не на хитроумный обман конкурентов, а на прямую созидательную работу над материалом, доставляемым нам природой? Можно ли объяснить, что их «инстинктивное» отвращение к богатым людям, получающим привилегии только за свое право собственности и умение ее защитить, представляет собой бессмысленный архаизм, не выдерживающий разумной критики?

Я вовсе не собираюсь оправдывать эту «инстинктивную» установку отсталостью мышления тружеников. Я хочу доказать, что в их позиции заключается глубокая правота – более глубокая, чем в плохой логике «монетаристов», и что в нынешних условиях все более сложного технологического общества уйти от этой правоты невозможно. При этом я называю «правотой» не просто их моральное превосходство. Я покажу, что пренебрежение этим чувством «отвращения к общественным паразитам» представляет пагубную научную ошибку, а недостаточное развитие его – опасный патологический симптом.

## 7. Глобализация морали

Мы уже встретились с явлением «глобализации» морали, когда этические правила, выработанные в малой группе, в ходе эволюции человеческого общества постепенно распрямые отдаленные времена, о которых мы имеем письменные свидетельства, мы застаем «моральные правила» еще в очень узком их применении. До этого обязательность таких правил безусловно ограничивалась собственным племенем. У даяков на острове Борнео молодой человек мог жениться, лишь предъявив череп убитого «врага», то есть любого представителя другого племени. В греческих полисах, таких как Афины и Спарта, в архаический период жизнь (и тем более имущество) гражданина другого города-государства уважалась лишь в том случае, если на этот счет был «международный» договор. Пиратство, при котором ограбленных мореплавателей убивали или в лучшем случае продавали в рабство, считалось доблестью чуть ли не до пятого века до н. э., и лишь Афинская архе, зачаток большого государства, на время вывела пиратов в Эгейском море. У римлян морские законы предписывали в случае угрозы кораблекрушения выбрасывать за борт все грузы, в том числе и рабов. С биологической стороны такое обесценивание жизни собрата по виду выглядит очень странно, поскольку у всех хищников существуют инстинктивные коррекции инстинкта внутривидовой агрессии, требующие не умерщвления своего «ближнего», а только изгнания его со своего охотничьего участка. Без этих коррекций ни один вид не мог бы сохраниться, и самый факт сохранения человеческого вида – единственного (за исключением крыс), практиковавшего войны между популяциями и каннибализм – нуждается в особом объяснении. Не думаю, чтобы все это было вполне ясно, но возможно, что остаточные явления упомянутых коррекций все же сохранились: в древнейшие времена с рабами часто обращались, «как с людьми». Для этого надо было, чтобы они жили совместно с хозяевами: тогда их начинали воспринимать как «членов семьи» [19].

Конрад Лоренц заметил, что у человека непосредственное эмоциональное взаимодействие, с инстинктивным тада, где и выработались эти инстинкты. Для образования непосредственных эмоций не обязательно, чтобы человек принадлежал к нашей семье или к нашему племени; но необходимо, чтобы он постоянно встречался с ним и имел для нас значение в повседневной жизни, как это бывает с жителями небольшой традиционной деревни. Для упрощения дальнейшего изложения назовем такую «мораль» локальной. К другим людям, не входящим в привычную для нас «малую группу», мы относимся гораздо равнодушнее, и если соблюдаем в отношении этих людей «моральные правила», то уже с помощью другого механизма, не запрограммированного генетически, а вырабатываемого культурной традицией. В обществе, где сохраняется такая традиция, такие правила соблюдаются по отношению к более или менее широкой группе; такую «мораль» мы назовем глобальной. Члена «малой группы» нельзя обидеть, потому что этому препятствует наше непосредственное чувство, уцелевшее от древнего инстинкта, корректирующего инстинкт внутривидовой агрессии, тогда как человека «широкой группы» не полагается обижать, потому что этому препятствует культурный запрет, переданный нам в детстве посредством обучения. Объем «широкой группы», охватываемой этим запретом, зависит от исторических условий.

Различие между «локальной» и «глобальной» моралью очень важно для профессора Хайека, хотя он не употребляет этих терминов и вряд ли понимает биологический смысл этого различия. Вообще, значение механизма культурной наследственности, называемого традицией, вряд ли ему понятно: иначе он не придумал бы загадочную «мораль», находящуюся где-то «между инстинктом и разумом», что скорее напоминает рассуждения философов XVIII века, чем сколько-нибудь реалистический подход к человеку. Локальная мораль Хайеку не нравится, она мешает индивиду механически повиноваться правилам игры «расширенного общества». Хайек хотел бы, чтобы остались одни «абстрактные» правила морали – он так и называет их абстрактными, и подчеркивает, как важно, чтобы они не относились к непосредственно знакомому нам индивиду, не были «инстинктивны». В нашей терминологии, он проповедует глобальную мораль. Но он не отдает себе отчета в том, что глобальная мораль возникла из локальной и без нее не может существовать.

История неопровержимо свидетельствует о том, как глобальная мораль возникла из локальной. У Гомера мы находим уже, наряду с дикими проявлениями безжалостности к чужим племенам, изображенными с наивной простотой того времени, совсем другие понятия, выразителем которых является, как можно думать, сам автор. Его изображение «чужих» троянцев не оставляет сомнения, что они такие же люди, как греки, а домашние рабы обладают всеми добродетелями, кроме, пожалуй, воинственности и кровожадности; вспомните, как «богоравный» свинопас Эвмей обосновывает институт рабства:

«Долю печального рабства избрав человеку,  
лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет».

Наконец, первую из утопий – царство прекрасных и справедливых феакийцев – Одиссей находит далеко от родной Итаки. Примерно в то же время, когда была создана эта утопия, идея общечеловеческого братства пробивает себе путь в сознании еврейских пророков. И, наконец, Иисус признает человеческое существо в самаритянке, а затем, если верить заключению евангелия от Матфея, приходит к мысли проповедовать свое учение всем людям: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Во всяком случае, уже раннее христианство обращается ко всем человеческим племенам, не различая «эллина от иудея».

Мучительный процесс «глобализации» морали далек от завершения и в наши дни. Значение его чрезвычайно важно и вовсе не ограничивается поддержанием правил, необходимых для рыночного хозяйства. Все вообще «правила поведения», делающие возможным организованное общество, берут свое начало в инстинктивно запрограммированном поведении «малой группы» и заимствуют свою энергию из биологически обусловленных эмоций, складывающихся в этой группе непосредственно знакомых людей. Самая передача традиции, создающей все общие, или «абстрактные» правила поведения, связана с особым эмоциональным отношением к «передающему традицию» – чаще всего родителю, или заменяющему его близкому человеку. Как показало исследование этого процесса обучения, происходящего в детстве и в основном завершающегося ко времени половой зрелости, «общие правила» поведения, существующие лишь в сложившейся культуре, могут передаваться лишь там, где достаточно сильны «частные правила» отношения к близким людям, безусловно запрограммированные в нашем геноме, но в виде так называемой «открытой программы». Это значит, что ребенок будет любить и уважать своих близких, если необходимые для этого процессы воспитания своевременно включают предназначенный для этого эмоциональный механизм. В свою очередь, если образуется такое отношение к близким людям, обычно передаваемое словами «уважение» и «авторитет», то ребенок воспримет от них – уже в виде культурной наследственности – выработанные традицией данной культуры «общие» правила поведения по отношению ко всем членам «широкой» группы. Эти законы, уже хорошо поняты биологами и историками культуры, особенно ясно иллюстрируются нарушением функций тех механизмов, от которых зависит образование «моральных правил». Мы как раз живем в такое время, когда исчезновение всякого авторитета в «малой группе» очевидным образом приводит к невозможности формирования «глобальных» правил поведения. Поскольку это явление не только описано во всех деталях проницательными наблюдателями [Достаточно прочесть первые сто страниц знаменитой книги Алана Блума «Затмение американского духа»/ Allan Bloom, "The Closing of the American Mind", Simon and Schuster, New York, 1987, описывающие изменение молодежи за последние тридцать лет.], но и подвергнуто исчерпывающему научному анализу [См. уже упомянутую фундаментальную книгу К. Лоренца «Оборотная к обществу без отцов» (Alexander Mitscherlich, Auf dem weg zur faterlosen Gesellschaft, R. Piper & Co Verlag, M

\*\*\*

Теперь я хотел бы описать общее отношение между «локальным» и «глобальным» в человеческой жизни; может быть, лучше всего будет начать с того, что в физике называется «близкодействием» и «дальнодействием». Общепринятый теперь способ описания «непрерывных сред» и (во всяком случае классических) полей можно проиллюстрировать на примере равновесия тонкой мембраны, вроде тех, которые употребляются в телефонных трубках. Чтобы понять, от чего зависит произвольное положение мембраны, представим себе, что на ее поверхность нанесена сеть перпендикулярных прямых, дающих в пересечении вершины квадратных ячеек. Пусть А – одна из этих вершин, В – ближайшая вершина слева от А, С – ближайшая справа, D – ближайшая сверху и E – ближайшая снизу.

Если мембрана слегка изогнута по отношению к горизонтальной плоскости, где она находилась бы в ненапряженном состоянии (скажем, плоскости чертежа), то все ее точки отклонены от плоскости на некоторые расстояния. Оказывается, что отклонение точки А с большой точностью равно среднему арифметическому отклонений четырех ближайших точек сети – В, С, D, E. Иначе говоря, положение в пространстве каждой точки сети зависит только от положения ее ближайших соседей – и больше ни от чего. Это и есть принцип близкодействия. Если край мембраны слегка сдвинуть в каком-то месте, то начнут двигаться вначале ближайшие вершины сети, потом следующие, и когда это движение (скажем, слева направо) дойдет до точки В, то и отклонение в точке А изменится в точности настолько, чтобы по-прежнему равняться среднему в четырех соседних точках. Точка А «не знает» никаких других

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
точек, кроме соседних, и вдоль мембраны, перемещаясь слева направо, распространяется волнообразный процесс.

Этому строго локальному закону противостоит «самый древний» из количественных законов физики – закон тяготения Ньютона. Это глобальный закон: тяжелое тело А притягивает другое тяжелое тело В с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату их расстояния. Чтобы найти эту силу (а затем и вызываемое ею движение), надо знать нечто, находящееся далеко, как Земля от Солнца, и не надо принимать во внимание то, что может происходить вблизи: пространство между А и В можно с достаточной точностью считать «пустым», и Ньютон не пытался описать, как «тяготение» распространяется в этой пустоте. Оно попросту всегда есть, всегда действует; и этого достаточно, чтобы Земля описала вокруг Солнца 4 12 миллиарда одинаковых оборотов. Устойчивость системы обеспечивается здесь глобальным законом. Физики называют это «дальнодействием»; эта схема дальнодействия, позволяющая понять движение планет, в конечном счете может быть заменена очень сложным близкодействием, как показал Эйнштейн; но для нашей цели это не имеет значения. Нам надо лишь продемонстрировать, как надежно и устойчиво управляет природой глобальный закон. Если бы мы не знали закона тяготения, не возникла бы современная наука, и в «макрокосме» ничего нельзя было бы понять.

В «микроскопии» человеческого общества действуют гораздо более сложные силы. Некоторые из них локальны, как силы напряжения мембраны: мы автоматически реагируем на любое перемещение наших соседей, поскольку иначе не сможем сохранить равновесие. Но другие силы, определяющие наши движения, глобальны. Многие в нашем поведении определяются дальнодействием принципов, внушенных нам в детстве, а затем закрепленных в ходе личного развития. Мы не всегда ведем себя в зависимости от поведения соседей (в свою очередь не имеющих другого мотива, как себя вести!). Иногда мы действуем так, как требует Справедливость, как внушает Самоуважение, как хочет Бог. И мы говорим при этом странные, старомодные слова: «На этом я стою и не могу иначе», или еще что-нибудь в том же роде. Выражаясь неуклюжим языком физиков, можно сказать, что в нашем поведении участвуют одновременно компонента близкодействия и компонента дальнодействия.

В действительности «дальнодействие» присутствует уже в мотивации животных. У животных тоже есть «общие принципы» поведения, встроенные в генетически наследуемые структуры их нервной системы: иначе они не могли бы выжить. Все это начинается с каких-нибудь «тропизмов», побуждающих насекомых лететь на свет или избегать сильного ветра. Но у животных «общие принципы» закреплены лишь в их геноме, а у нас, людей, они закреплены также в традиции нашей культуры. И есть все основания полагать, что одни только унаследованные шаблоны движения, вместе с «толчками» ближайших соседей, недостаточны для сохранения нашего вида: без культурного «дальнодействия» нам не выжить.

В этом месте консервативно настроенный читатель может заподозрить, что я веду мое рассуждение к старой, веками заученной цели: «нам нужен бог». Этот специальный принцип дальнодействия вполне устраивал наших предков, но не годится для нас, к чему я еще вернусь. Пока же напомним консервативному читателю, что я этого не говорил. В действительности я сформулировал гипотезу, что культура не может существовать без общих принципов, то есть правил, применение которых не следует из ближайших обстоятельств, а в важнейших случаях от них не зависит. Помните ли вы, что, собственно, означает выражение «порядочный человек»? Это человек, соблюдающий «порядок» в своих поступках, имеющий общие правила, а не только частные интересы. Так вот, здоровая культура подобна порядочному человеку, а больная – непорядочному. Предания культуры могут постепенно меняться, но здоровая культура верна своим преданиям. И самые глубокие революции черпают свои идеалы в этих преданиях. Вспомните слова Христа: «не разрушить я пришел, но исполнить».

Гипотеза о неизбежности «дальнодействия» подтверждается историей всех известных культур. Вы скажете: у них была религия. Но это неубедительный аргумент. Верно, что там, где была сильна религия, было «дальнодействие» в самом очевидном смысле этого слова. Но, как я уже говорил, из двух (и только двух!) независимых центров высокой культуры только западный центр обладал религией в нашем смысле слова. Восточный центр – Индия и Китай – от нашего понимания религии был очень далек. Буддизм, в его серьезном смысле, был философией, не привившейся у себя на родине и не породившей прочную культуру. Но конфуцианство – с нашей точки зрения не религия, а этическая философия – породило культуру, продержавшуюся тысячи лет. Другим, не столь очевидным примером, был стоицизм. Римская империя эпохи Антонинов, и даже после этой эпохи, почти до конца Западной империи, держалась усилиями людей, не имевших религии, но воспитанных стоиками. Это была замечательная

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
система, впитавшая в себя все принципы греческой философии, с печальной мудростью ее зрелости, но без ее юношеского энтузиазма. Стоицизма хватило античной культуре почти на триста лет. Оба примера иллюстрируют возможность продолжительной культуры без религии, и это все, что я хотел этим доказать: я не зову вас ни в Китай, ни в поздний Рим. Швейцар справедливо винит стоиков в слабости общественного мышления и пессимизме. А в чем был виноват Конфуций? В том, что он сделал всех китайцев похожими на себя?

\*\*\*

После длинного отступления – о близкодействии и дальнодействии – вернемся к профессору Хайеку с его «расширенным порядком». Чувство «социальной справедливости», без сомнения, коренится в «малых группах», в непосредственном отношении рабочего к тому, кого он считает своим паразитом. Мы видели, что это чувство имеет глубокий психологический смысл: «Кто не работает, пусть не ест». Оно не разрушается глобальными экономическими аргументами – правильными или нет, – потому что оно элементарно. Оно пришло к нам из обезьяньего стада вместе со всем, что оттуда пришло, и без чего мы не стали бы людьми. Если вы попытаетесь вырвать из вашего сердца эту «социальную справедливость», то вы потеряете чувство справедливости вообще. Потому что это чувство, точно так же, всегда непосредственно и элементарно. Вам не нужно производить расчеты, чтобы узнать, что справедливо, а что нет. Расчеты покажут вам, в лучшем случае, что выгодно обществу в среднем, и не обязательно вам.

Но как раз элементарное чувство справедливости производит, в ходе глобализации, понимание того, что хорошо и что плохо в общественных делах. «Абстрактные правила», держащие «расширенный порядок», происходят, в конечном счете, из него. В обществе, где угасает чувство социальной справедливости – праведное негодование против хитро устроившегося бездельника, – не будет вообще никакого праведного негодования, а будет один расчет. Например, уважение к собственности основывается на уважении к заложенному в ней труду. Тот, кто нажил какую-нибудь собственность личным трудом – собственным горбом – не будет уважать собственность, приобретенную в один день биржевым надувательством. Иначе собственность не священна, не серьезна, а собственник – способен красть. Научная ошибка «монетаристов» состоит в допущении, будто в обществе с атрофированным чувством социальной справедливости будет по-прежнему существовать уважение к собственности. Не будет. Собственники будут надувать налоговую службу, друг друга, и прежде всего – потребителей, когда только это можно будет делать безнаказанно. «Моральные правила» профессора Хайека сведутся в таком случае к страху уголовной ответственности, а на одном этом страхе общество построить нельзя.

В сущности, в современной Америке все это уже стало действительностью. Американский «средний класс» вовсе не уважает собственность, он уважает ловкость. Единственная надежда Соединенных Штатов – это обездоленные труженики, у которых сохранилось чувство справедливости. Но если их посадить на уэлфер и отучить от труда, они тоже станут уважать ловкость – как ухитриться не работать и все-таки жить. Подлинный непримиримый труженик – это мыслящий интеллигент [20]. Спасение общества зависит от него. Весь вопрос в том, как его воспитывать и чему учить.

## Часть вторая

### 1. Проблема «добра и зла»

Теперь мы на время расстанемся с капитализмом. Нам предстоит еще вернуться к нему, чтобы выяснить его окончательную судьбу. Но прежде мы должны исследовать, что понимается под словом «социализм» и насколько

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
основательна критика, которой подвергают взгляды социалистов профессор Хайек и его (якобы консервативные) друзья. Начать придется издаleка: с известной проблемы «добра и зла», чрезвычайно запутанной доктринами всех религий и рассуждениями всех философий.

Религии предшествовали во времени всякому философствованию, которое почти до наших дней не умело избавиться от их стиля мышления. О первобытном мышлении, то есть о восприятии мира и способе его понимания, сложившихся у наших примитивных предков, мы знаем уже немало. Кроме частных воззрений и рассуждений, касавшихся практически важных для человека предметов, первобытное мышление включало и «теоретическое знание», пытавшееся объяснить мироздание в его отношении к человеку; этим «теоретическим знанием» и была религия. В религии всегда проявлялось присущее человеку стремление к «глобализации» – обобщению своего опыта на очень широкий круг явлений – и связанный с ней антропоморфизм, уподобляющий эти явления человеческим поступкам. В сущности, это был уже, в зачаточном виде, научный подход: человек пытался построить модель окружающего мира, используя наиболее известную ему систему – самого себя. Все, что случалось с человеком, он делил на «неприятное» и «приятное»: с одной стороны были опасности окружающего мира и связанные с ними ощущения, с другой – блага окружающего мира и доставляемые ими удовольствия. Уже самое разделение человеческого опыта на две взаимно исключающих категории свидетельствовало о дихотомическом мышлении, выработанном эволюцией. Мы знаем, что уже одноклеточные животные обладают механизмами двоякого рода: предохраняющими от опасности и направляющими к большему благу. По-видимому, первые исторически предшествовали вторым, поскольку простейшие из этих организмов имеют лишь устройства, позволяющие им при движении в случайно выбранном направлении, избегать препятствий, сворачивая в сторону, или резко отступать назад от опасностей (что называется «фобической реакцией»); но эти организмы не обладают еще способностью активно отыскивать лучшие условия в окружающей среде. Более сложные одноклеточные способны, кроме того, воспринимать сигналы о состоянии этой среды и двигаться «по градиенту» требуемой величины, то есть по направлению к ожидаемому благу. Эти организмы сложнее, и возникли, очевидным образом, позже. Можно утверждать, что биологический прообраз того, что мы называем «злом», предшествовал по времени прообразу «добра». Самая формулировка принципа эволюции, данная Дарвином, это подтверждает: речь идет о сохранении вида, а сохранение – это прежде всего избегание опасностей. Кстати, биологические источники представлений о добре и зле не поддерживают известного софизма, утверждающего, будто «зло» не имеет самостоятельного существования, а попросту означает отсутствие или недостаток «добра» – подобно тому, как «холод» означает недостаток тепла. Аналогия с физикой, лежащая в основе этого софизма, вводит в заблуждение. «Зло» есть оборонительная, или пассивная сторона нашего ощущения жизни, «добро» – его наступательная, или активная сторона. Однажды возникшее живое существо, наделенное способностью «автоматически» впитывать содержащиеся в окружающей среде питательные вещества, должно было прежде всего сохраниться, а затем уже заняться поисками лучшей среды. Из наших инстинктов безусловное первенство принадлежит инстинкту самосохранения, в серьезных случаях выключаящему все другие. Поэтому следует признать, как это ни огорчительно для моралистов, независимое существование «зла».

Дихотомия «пассивного» и «активного» начала в человеческой жизни – или, если угодно, оборонительного и наступательного начала – коренится, таким образом, в биологических условиях существования живых организмов. Конрад Лоренц, размышлявший над природой соответствующих механизмов, полагает, что «пассивные» приспособления могут оберегать организм от опасностей, но по самой своей природе не годятся для поиска лучших условий; для этой цели эволюция и создала «активные» приспособления – механизмы поиска. Человек не может вернуться к существованию амебы, автоматически реагирующей на раздражения и тем самым воплощающей идеальный консерватизм. Мышление человека, и еще больше его эмоции, возникшие из описанного взаимодействия «оборонительных» и «наступательных» механизмов, неизбежно приобрели дихотомический характер. Не только противостояние «истины» и «лжи» определяло мышление человека, но противостояние «добра» и «зла» определяло его чувствование, а в процессе глобализации, который сам по себе заслуживает детального изучения, человек распространил этот «дуализм» чуть ли не на все происходящее во Вселенной. Конечно, нельзя предпологать, будто все возможные высказывания о природе вещей должны непременно иметь форму «теорем», которые могут быть только «верны» или «неверны»; с большим трудом наука может избежать такой ошибки, перестав, наконец, пользоваться человеческим мышлением как универсальной моделью для всего сущего [Еще и в наше время модный философ Хайдеггер пытался найти ответ на все вопросы,

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) фантазируя над тонкостями языка.]. Но это вовсе не значит, что мы можем вовсе отказаться от дихотомии. Ведь она лежит в основе всей нашей логики, а без логики нет никакого мышления; и можно даже предположить, что любое возможное мышление, не обязательно человеческое, включает в себя этот основной процесс различения и сравнения – того, что называет *pattern matching* [Примечательно, как бесплодны были попытки построения «многозначных логик».]. Столь же неустраима дихотомическая оценка «хорошо» и «плохо», лежащая в основе всех культур. Я хочу добиться полной ясности в понимании этого сравнения. В нашем мышлении мы в состоянии описывать сложные взаимоотношения вещей, пользуясь утонченными описаниями, не сводящимися к простым констатациям «истинности» и «ложности» утверждений; но как бы далеко мы ни отошли от Платонова геометризма, «правильное» мышление никогда не утратит различия «истины» и «лжи», хотя бы потому, что сравнение теории с опытом всегда дихотомично, а мышление, никак не сравниваемое с опытом, бессмысленно. Еще больше – значительно больше – роль дихотомии в нашем поведении. Все когда-либо существовавшие культуры резко отделяли «хорошее» поведение от «плохого», «добро» от «зла». Условия такого разделения, а иногда его условность, мы понимаем лучше наших предков и пользуемся утонченными описаниями смысла истории и повседневной жизни. Но только безумец вроде Ницше или вроде известного оперного персонажа, отчаявшегося не столь философским способом, способен утверждать, будто «добро и зло – одни мечты». Можно привести серьезные доводы, объясняющие неустрашимость дихотомии из всякого описания и всякой оценки человеческого поведения. Для этого надо напомнить, что такое «культура».

Слово «культура» употребляется в двух разных смыслах, и хотя у читателя вряд ли могло возникнуть сомнение, в каком смысле я его употребил в предыдущем изложении, надо сделать здесь по этому поводу пояснение. Дело в том, что оба смысла этого слова весьма важны и, в частности, важны для того, что я имею сказать. В повседневном употреблении «культурой» называется развитое, сложное состояние человека или общества, в отличие от неразвитого и простого. Самое слово *cultura* первоначально означало «возделывание почвы, земледелие», но затем, уже в латинском языке, приобрело добавочные смыслы: «воспитание, образование» и «почитание, поклонение». В этом смысле оно противопоставляется «естественному» состоянию, описываемому словом *natura* (природа). Культурным человеком называется человек, мышление и чувства которого развиты воспитанием, общением с людьми и собственным размышлением; культурным обществом называется общество, в котором развились и действуют сложные, утонченные способы воспитания, общения и мышления. Вполне очевидно, что отдельные люди могут быть в этом смысле более или менее культурны. Давно уже общепризнано, что и человеческие общества могут быть более или менее культурны или, не стесняясь употреблять старые выражения, что существуют «высоко развитые» и «низко развитые» сообщества. Альберт Швейцер употреблял слово «культура» и «культурный» только в этом смысле; Конрад Лоренц, употреблявший слово «культура» в другом смысле, описываемом ниже, говорил о «высших» и «низших» культурах, во множественном числе. Следуя этим двум великим гуманистам, я принимаю тот очевидный факт, что человеческие сообщества достигали различных уровней развития – высших и низших. Отрицать это означало бы не отличать более сложное от менее сложного, что и делают так называемые «культурные релятивисты», считающие все «культуры» одинаково «высокими» и «сложными». Эта политическо-сохранительная уступка распространенной в западном обществе демагогии выдает себя за единственно правильную науку, но в действительности пытается отвлечь внимание от важного факта существования отсталых племен и низкоразвитых государств, чтобы угодить определенным слоям избирателей и не оскорбить малограмотных диктаторов в упомянутых странах. «Культурные релятивисты» выдают себя за борцов против расизма. Но в действительности, искажая прошлое и настоящее в угоду некультурной публике, они лишь доставляют расистам материал для насмешек.

Кто же не знает, что современные народы Европы и Америки происходят от варваров, немногим отличавшихся от униженных ими «дикарей» – и были такими дикарями в то время, когда греки создали свою величественную цивилизацию, а римляне, усвоив эту цивилизацию, построили гражданское общество и заложили основы права? Кто не знает, что китайцы, пренебрежительно отвергавшиеся как «низшая раса», в прошлом превосходили европейцев во всех искусствах и ремеслах, изобрели книгопечатание, компас и порох, что их же изобретения, усвоенные европейцами, послужили впоследствии для их поражения? Я пишу эти строки в Сибири, до недавнего времени одной из самых отсталых частей мира, завоеванной русскими в XVII веке, когда в России были уже пушки, но еще не было школ. Нет ничего более чуждого мне, чем высокомерное отношение к ныне отсталым племенам, которые – если верить урокам истории – в будущем нас превзойдут. Но я отказываюсь следовать моде, требующей в наши дни



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
повторения обязательных глупостей. Альберт Швейцер, отдавший свои силы черным африканцам, знал, что представляет в Африке более высокую культуру, – иначе зачем ему было приезжать в Габон?

Итак, существует мировая культура в том смысле, как ее понимал Швейцер, и вместе с ним другие великие мыслители, культура, развитая усилиями разных народов в разное время и в наше время распространенная на весь земной шар техническими средствами Запада. Несомненно, мир идет к созданию единой человеческой культуры, которая включает в себя все разнообразие отдельных, исторически сложившихся культур.

Перехожу теперь ко второму смыслу слова «культура», в котором я уже употребил его в конце предыдущей фразы. В этом смысле слово имеет множественное число, потому что означает одну из многочисленных живых систем, сложившихся в ходе истории из различных племен и наций и различающихся рядом признаков, среди которых могут играть более или менее важную роль язык, образ жизни и религия. Такое понимание слова «культура», встречавшееся уже давно, но не имевшее специфического научного смысла, приобрело этот смысл в работах антропологов начала нашего века. Именно в этом смысле употребляются выражения «египетская культура», «китайская культура», «греческая культура» или, применительно к Новому времени, говорится о французской, немецкой или английской культуре. Более общий смысл то же понятие приобретает в выражениях «европейская культура», «африканская культура» или «индийская культура», поскольку в таких случаях не предполагается единство языка и религии, а остается лишь единство образа жизни и связанного с ним способа мышления и чувствования.

Покончив с этими семантическими объяснениями, необходимыми для полноты изложения, перейду теперь к этическому основанию культур. Оказывается, что при всем разнообразии культур их этические установки очень похожи, что несомненно объясняется общими биологическими свойствами нашего вида. Лоренц, объясняя независимое развитие культур, подобное формированию видов и подвидов в ходе эволюции, в то же время подчеркивает фундаментальное единство проявляющегося в них мышления и чувствования. Самым убедительным доказательством единства человеческого мышления является возможность обучить новорожденного ребенка любому языку. Это означает, что основные наследственные структуры мышления у всех людей одинаковы, и лишь словесный и грамматический материал языка, определяемый культурной традицией, различен. Есть гипотеза, что и сами языки, при всем их словарном и грамматическом разнообразии, основываются на одних и тех же принципах, корнящихся в первоначальном человеческом мышлении [21]. Единство человеческого чувствования доказывается совпадениями – до малейших подробностей – проявлений всевозможных эмоций у всех известных племен Земли. Дарвин, справедливо придавая этому особое значение, написал на эту тему одну из своих книг; а уже в наше время И. Эйбль-Эйбесфельдт и его сотрудники доказали все предположения Дарвина тщательно продуманной киносъёмкой элементарного выражения эмоций у людей всевозможных культур. Наконец – что особенно важно для нашей цели – у всех племен Земли, с древнейших времен до наших дней, всегда были, по существу, одни и те же понятия о «добре» и «зле». Разнообразии обычаев и ритуалов скрывает это фундаментальное единство, но широко задуманное исследование, проведенное в Корнеллском университете, подтвердило заключения современных исследователей правовых систем. Видимые различия между ними относятся не к их принципам, а к уровню их глобализации: в понимании того, что «хорошо» и что «плохо» в применении к «узкому» кругу людей (например, собственному племени или собственной социальной группе), все люди весьма сходятся между собой, различия же начинаются в определении круга наших собратьев, на который распространяется это понимание. Еще и сейчас убийца нередко остается безнаказанным, сбежав в другую страну.

\*\*\*

Дихотомическое мышление человека, глубоко заложенное в его эволюционной истории, особенно ярко проявляется в первобытных культурах, где оно не корректируется развитым умом. Для первобытного человека противопоставление «добра» и «зла» абсолютно; оно определяется до мельчайших подробностей обычаем и религией. Можно понять, почему такая дихотомия была необходима для выживания нашего вида. Примитивный человек плохо мыслит, и нельзя «положиться» на его анализ ситуации; чтобы племя не претерпело ущерба от его поступков, такому человеку нужны отчетливые указания в дихотомических терминах, что «можно» делать, и чего «нельзя». Еще и в наши дни можно услышать мнение, что «человеку с улицы» или «простому человеку» надо все объяснять в виде простых алгоритмов поведения, рисующих в любой ситуации два поступка: «хороший» и «плохой». Я не придерживаюсь столь низкого мнения

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
о «простом человеке», и вообще сомневаюсь в состоятельности этого политического термина, но для примитивных людей, каковы безусловно были наши предки, этическая дихотомия была единственным способом сохранения вида. В самом деле, как уже было сказано, у человека плохо действуют инстинкты, корректирующие внутривидовую агрессию, о чем свидетельствуют вечные войны между племенами; чтобы предотвратить агрессию внутри племени, нужны другие правила, передаваемые культурной традицией. Итак, культура – это прежде всего этическая система. Мы понимаем мудрость Альберта Швейцера, озаглавившего свою основную книгу «Культура и этика»: без этики культура не могла бы выжить. Не всегда этическая система складывается надлежащим образом. Рут Бенедикт и другие описали племена, в которых ненависть и подозрительность распространяются буквально на всех членов собственного племени и едва сдерживаются формальным запретом. Племя с такой этикой, конечно, обречено: оно вымрет, или его устранил групповой отбор. По-видимому, хорошо известная историкам этика спартанцев находилась на грани возможного, так как в ней «зло» явно преобладало над «добром». Моущество Спарты длилось не более двух столетий: спартиаты перестали размножаться.

Швейцер был безусловно прав, поставив этику в центре своих размышлений о культуре. Но вряд ли сам термин «этика» содействовал популярности его философии: это ученое и не очень эмоциональное слово. Чтобы увлечь людей, нужны другие слова; но в наше время их не слышно.

Итак, дихотомическое мышление первобытной культуры резко противопоставляет «добро» и «зло», как это и нужно для воспитания первобытного человека. Пожалуй, больше подчеркивается «зло»; то, что запрещено делать, превращается в священные табу. И затем уже «добро» определяется через «зло»: добродетельный человек – это прежде всего тот, кто не нарушает племенных табу. Впрочем, наличие «внешнего врага» очень скоро развивает представление об активном добре – таковым становится прежде всего воинская доблесть. Недаром знаменитое слово *bonus* первоначально означало «сильный, боеспособный», а потом уже восприняло смысладательность, а силу мышц и ловкость движений. Из всей культурной традиции упорнее всего сохраняется ее этическая система. Неудивительно, что резкая дихотомия добра и зла пережила первобытную стадию культуры и ослабевает лишь тогда, когда сама культура клонится к упадку – как это происходит в наши дни. Доводя до крайности представления о добре и зле, культура их персонифицирует, связывая эти виды поведения с влиянием сверхъестественных существ, добрых и злых. Добрые боги ведут – с переменным успехом – войны со злыми богами, и эта «космическая» трагедия используется для того, чтобы «оправдать» наши, земные трагедии. На очень ранней стадии общества добро – это несомненно воинская доблесть, а зло (если не считать нарушений табу) – недостаток воинской доблести или неумение побеждать.

Лучшее изображение такой «воинствующей» этики – германская мифология, где высшим благом считается возможность всегда воевать и одерживать победы. Но у гомеровских греков уже нет Валгаллы. Илиада – это история бесконечной резни; доблести должным образом прославляются, как это и нужно было слушателям поэта, но сам он уже тяготеет к бессмысленным поклонением войне. В символическом поединке Диомед вонзает копьё в божественное брюхо Арея. Поэт не может нарушить традицию: Ахиллес должен убить Гектора; но сам Гомер не одобряет безумства Ахиллеса, опьяненного войной ради войны. Все его симпатии на стороне Гектора, разумного защитника Трои и воина не по своей воле. Гомер уже пресыщен Валгаллой. Его влекут дальние странствования, тайны природы и мечты о лучшей жизни. И он приводит Одиссея в страну блаженных феакийцев – первую из Утопий.

Рождение Утопий означает, что у людей созревает представление об Абсолютном Добре, и замечательно, как по закону контраста это высшее Добро противопоставлено низшему: военной славе. Одиссея противопоставит Илиаде как новая глава истории. Феакийцы, любимцы Посейдона, не имеют нужды воевать и не готовятся к войне. Они знают лишь мирные состязания, музыку и танцы. Корабли их не боятся бурь и сами находят свой путь. Но боги не хотят, чтобы другие смертные отыскили путь к ним, потому что мир должен остаться во власти зла. И Одиссею не дано блаженство: он должен вернуться к резне. Повседневная жизнь, со всем ее добром и злом, противопоставит здесь Абсолютному Добру, но здесь еще нет Абсолютного Зла. Его изобрели христиане, понявшие, как построить полную дихотомию человека [22]; но об этом потом.

Здесь важно понять, что потребность безгранично обобщать свои мысли и чувства – которую мы назвали глобализацией – заключена в самой природе человека. Это попросту означает, что человек не может жить иначе. Недаром человек перенес это свое неотъемлемое свойство – как и другие свои свойства – на придуманного им Бога, назвав его Бесконечным Существом. Бесконечное

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

Существо – это и есть Человек. Он не может остановиться в своем влечении к совершенству, в своем этическом максимализме. И вообще, человек по своей природе – максималист. Иначе как бы он стал человеком – подумайте, сколько трудностей ему пришлось для этого преодолеть. Между тем, наши родичи гориллы мирно живут в горных лесах Конго, не зная врагов, питаются зеленью и плодами. Они живут в Утопии, достигнув Абсолютного Добра, и жили бы там вечно, если бы не человек. Несомненно, в человеке работает открытая программа прогресса, побуждающая его не останавливаться ни на чем – не довольствоваться никакой утопией. Лесные плоды ему недостаточно сладки, он непременно выдумает сахар. Смысл этой программы можно понять. Если наряду с генетической наследственностью человек выработал культурную наследственность, то медленная, зависящая от случайностей среды генетическая эволюция должна была дополняться культурной, происходящей очень быстро. Но смысл всякой эволюции – совершенствование вида, позволяющее ему выжить, и точно таким же был вначале смысл культурной эволюции. Если предположить, что теперь существованию нашего вида уже ничто не угрожает (далее мы рассмотрим это предположение!), то инстинктивно обусловленное стремление к культурному прогрессу продолжает действовать: эволюция не берет назад своих даров. Конечно, то, что обусловлено генетически, не содержится в виде какого-то «гена прогресса» в нашей ДНК: достаточно было запрограммировать непреодолимое влечение к «лучшим условиям среды», не довольствующееся никакой данной средой, а потому (при должном развитии мозга) всегда стремящееся создать лучшую среду. Допустим, без доказательства, но очень правдоподобно, что это стремление могло возникнуть как раз из соединения совершенно аномального стремления к лучшим условиям среды с развитым мозгом, способным представить себе изменение самой среды. Тогда прогресс представляется и в самом деле частью биологической природы человека: это его «космическая жадность». А если какая-нибудь культура лишается этой «жаовеческих программ, которая долго не действует, а поскольку все программы связаны между собой, то угнетается и всякая активность. Более того, приводятся в действие разрушительные программы, поскольку активность ищет себе компенсирующие пути. Суждена ли такая же судьба всей человеческой культуре – культуре в первом смысле слова – я не знаю, но уверен, что фрустрация «прогрессивного» инстинкта погубила бы наш вид. К этой теме я еще вернусь дальше, при обсуждении «конфуцианской культуры».

\*\*\*

Поразительно, что древние греки не додумались до идеи прогресса. В области человеческих отношений и государственного устройства греческие мыслители рассматривали чуть ли не все возможности, испробованные в дальнейшей истории; но в отношении будущего греки всегда были пессимисты. Идея вечного повторения, высказанная многими и уже на склоне греческой цивилизации повторенная Полибием, может здесь кое-что объяснить. У египтян и китайцев не было такой идеи, так как их политический опыт ограничивался одной неизменной системой. У греков же было, по их классификации, пять политических систем: монархия, аристократия, демократия, олигархия и тирания, все время и в разных местах сменявших друг друга. Естественно, они повторялись, потому что никаких других способов управления, кажется, придумать нельзя. Развитие могло бы происходить в рамках каждой из них, или некоторых из них; но греки не придумали механизмов, обеспечивающих достаточную устойчивость – может быть, потому, что у них была «непосредственная» государственность, где все знали друг друга, и казалось не очень нужным формально закрепить законы. К несчастью для себя, греки недостаточно ценили законность [23]. А поскольку пять систем калейдоскопически сменяли друг друга, то ни одна из них не успевала развиться. С другой стороны, греческая религия легко взяла верх над попытками натурфилософов произвести человека от низших существ; как и везде, в Греции человек претендовал на благородное происхождение – от богов и героев. Но в других древних культурах считалось, что боги установили на свете устойчивый порядок и следят за его сохранением. Греческие боги были беззаботны и предоставили миру вырождаться: отсюда теория регресса. Сначала был золотой век, а затем дела шли все хуже и хуже. Я не пытаюсь объяснить здесь, почему греческая мысль навсегда осталась пессимистичной; но, может быть, именно смена и повторение одних и тех же режимов в целом ряде мелких государств, без малейшей новой идеи в течение столетий, и породила такой теоретический пессимизм. Так или иначе, греки помещали свои Утопии в прошлом. И когда Платон пытался сконструировать свое идеальное государство, он списывал его конституцию со спартанской неписаной, но вообразил вдобавок правителями философов вроде самого себя. Если цель состояла в том, чтобы

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) ничего не менять и этим приостановить дальнейший распад, то нужны были вовсе не мыслящие правители. Философы в роли цензоров и полицейских – это нелепость. Но ретроградная утопия Платона во многом напоминает ретроградную утопию нашего века – фашизм. Это была, однако, утопия для аристократов, ничего не говорившая чувству и воображению униженных и бедных. А поскольку первоначальная христианская церковь опиралась именно на эти слои населения, ей нужен был другой идеал Абсолютного Добра. Идеал этот пришел с Востока, потому что у греков было удивительно бедное эсхатологическое воображение: у них не было сколько-нибудь развитого представления о загробной жизни. Его не было также у евреев, но оно было очень важно в религии египтян и сирийцев; оттуда и пришли к христианам ад и рай. Рай стал для них Абсолютным Добром и, таким образом, Утопия стала посмертной, какой она была и у многих восточных народов. Для нас более интересна земная утопия христиан – Тысячелетнее царство, созданное, по-видимому, народным творчеством и воплотившее мечты простого человека о «хорошей жизни на земле». Мы еще займемся этим замечательным изобретением, поскольку оно и есть подлинный корень социализма. Теперь важно отметить, что здесь произошло удивительное перемещение мифа о Золотом веке: из баснословного прошлого он вдруг переехал в столь же фантастическое будущее. Земной рай переместился во времени, и перед человечеством возникла достижимая цель: вспомним, что первые христиане каждый день ждали второго пришествия и надеялись сразу же попасть в царство праведных. Но здесь не было еще идеи прогресса, потому что царство это не зависело от человеческих усилий, а только от воли божьей. Очень важно, что Тысячелетнее царство обещано было не мертвым, а живым.

Таким образом, христианство обрело идеал Абсолютного Добра, и даже в двух вариантах – загробном и земном. По закону дихотомии, ему нужен был также идеал Абсолютного Зла, и оно его нашло. Это был вовсе не Ад: в Аду действовало божественное правосудие, а не человеческая злая воля; там злые, по воле божьей, наказывали злых, но сам Ад был частью установленного Добра. Абсолютным Злом был этот земной мир, где мы живем. В этом мире действует свободная воля, дарованная человеку, и эта воля может быть злой; отсюда и происходит все мировое зло.

Эта фантастическая дихотомия была реальностью две тысячи лет – психической реальностью для верующих христиан. Ад возглавлялся Дьяволом, князем мира сего, столь же страшным, или более страшным, чем Бог. Историки говорят о «религии Дьявола», но в действительности был один чудовищный магнит, между полюсами которого металась человеческая душа. Профессор Хайек, по-видимому, надеется заменить это устройство рыночным хозяйством, несомненно имеющим притягивающие и отталкивающие силы.

Идеал Абсолютного Добра две тысячи лет беспокоил христианских сектантов и еретиков. Чаще всего они пытались лучше понять, чего от них хочет бог, чтобы обрести спасение души. Но нередко они стремились вкусить блаженство уже здесь, на земле, устроив собственными силами тысячелетнее царство в местах своего обитания. Так рассуждали альбигойцы, старавшиеся праведно жить, и мюнстерские анабаптисты, требовавшие праведной жизни от других. Церковь считала это ересью, поскольку не могло быть тысячелетнего царства до второго пришествия, и сурово наказывала еретиков. Но все эти еретики были пламенно верующие христиане, уповавшие на помощь свыше. Они пытались помочь божественному провидению, но не надеялись ничего достигнуть без него; поэтому они не были социалисты. Социализм начинается там, где люди начинают полагаться на себя, уверовав в собственные силы и рассчитывая изменить мир по собственному разумению [Я невольно пародировал здесь знаменитое определение епископа Боссюэ: «Еретик – тот, кто доверяет своему разуму и руководствуется собственным мнением»]. Для этого их чувство справедливости, прошедшее школу христианской праведности, должно соединиться с верой в прогресс.

## 2. Идея прогресса

Прогресс – сравнительно новая идея. Представление о том, что человеческие учреждения можно совершенствовать сознательными усилиями людей, впервые высказал в конце XVI века Жан Боден, темный схоласт, еще веривший в колдовство и обличавший ведьм. Но в 1737 году идею прогресса провозгласил уже просвещенный мыслитель, аббат Шарль де Сен-Пьер, а в 1750

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
ее восславил Тюрго. По-видимому, это французская идея, но несомненно навеянная открытиями Ньютона; давно уже замечено, что французы часто делали последние выводы из теорий более осторожных англичан. Во всяком случае, во второй половине XVIII века, прозванного веком Просвещения, вера в Прогресс овладевает умами людей. Наконец, в 1770 году выходит книга Поля Гольбаха «Система природы», где (скрывшийся за псевдонимом) автор впервые прямо утверждает, что бога нет. Теперь идея Прогресса отделяется от сентиментальных ссылок на божественное провидение: Прогресс сам становится божеством. «Религия прогресса», сменившая в образованной части общества разрушенную христианскую религию, не называла себя, конечно, «религией», а прикрывалась многозначным, но не столь скомпрометированным именем «философии». По существу же это была выросшая из «просвещенного христианства», из оптимистического деизма и его гуманистической этики религия человечества. Вера в Человека должна была заменить веру в Бога, или, как это впоследствии описал Фейербах, человек преодолел свою извечную привычку проецировать вовне свои собственные атрибуты и обнаружил в Боге самого себя. Это была великая революция человечности, сохранившая главные эмоции всякой религии – благоговение и энтузиазм – но отбросившая название «религия». Так было и при первой религиозной революции, когда евреи, уверовав в единого Бога и запретив себе поклонение идолам, отказались произносить имя Божие. Вторая религиозная революция, связываемая с именем Христа, отвергла по существу еврейскую религию, но отказалась назвать нового Бога и сохранила фикцию продолжения Ветхого Завета. Христианство, признав себя религией, назвало себя именем своего пророка, неуклюже пристроив его к старому Богу в должности Сына. Третья религиозная революция, порвавшая со Сверхъестественным, то есть проекцией Человека на небо, стеснялась называть новую веру «религией». Лишь отдельные люди решались произнести это слово – и, по-видимому, это были те, кто не совсем еще порвал с сентиментальным деизмом первоначального Просвещения. Вообще, подлинно новая религия стесняется назвать своего Бога. Третья религиозная революция, пытавшаяся основать религию без сверхъестественного, религию, согласную с только что открытыми законами природы, отказалась от самых понятий «Бог» и «религия». Поверхностные мыслители не поняли ее глубокой веры, ее пламенного энтузиазма; а ученые немцы принялись сочинять системы, напечатанные готическим шрифтом, чтобы сохранить Бога своего детства, закутав его в уже неизбежный рационализм. Но главное в религии – это не содержание веры, а сама вера.

Вера была у французского рационализма; ее не было у «немецкой классической философии», возникшей как реакция на эту веру. Кант не мог расстаться с Богом своей матери, Фихте и Гегель не могли обойтись без абстрактного суррогата уже мертвого для них бога – вот движущие мотивы этой философской реакции, выражавшей не только немецкое глубокомыслие, но и немецкую отсталость. Немецкая философия, как справедливо говорит Альберт Швейцер, не дает опоры для веры.

Не случайно Швейцер, глубоко верующий немецкий мистик, обратился к традиции французского рационализма. Вот что мы читаем в начале его книги: «Просвещение и рационализм построили в своем мышлении этические идеалы развития отдельной личности до подлинной человечности, положения человека в обществе, материальных и духовных задач этого общества, отношения народов друг к другу и их слияния в объединенное высшими, духовными целями единое человечество. Эти этические идеалы мышления начали влиять на действительность, сталкиваясь с нею в философии и в общественном мнении и преобразуя существующее положение вещей. В течение трех или четырех поколений был достигнут столь значительный прогресс в культурном сознании и в культурном состоянии, что это казалось решительным началом эпохи культуры, которой предстояло неудержимое дальнейшее развитие..»

В XVIII и начале XIX столетия философия была руководительницей общественного мнения. Она занималась вопросами, стоявшими перед людьми в то время, сохраняя живое мышление в этих вопросах в духе культуры. В философии было тогда элементарное [Прилагательное «элементарный» означает у Швейцера «относящийся к непосредственным, жизненно важным для человека вопросам».] философствование о человеке, обществе, народе, человечестве и культуре, естественным образом породившее популярную философию, овладевавшую общественным мнением и поддерживавшую культурный энтузиазм».

Причину, по которой этот прогресс задержался и с середины прошлого века начались явления распада культуры, Швейцер усматривает в «несостоятельности философии» (*Versagen der Philosophie*). И в самом деле, философия в интересующем его смысле перестала существовать; но это следствие, а не причина распада европейской культуры. Кроме того, вместо «философии прогресса» возникла другая философия, во многом враждебная культуре, но породившая очень влиятельную «популярную философию», действующую на массы.

### 3. О вере

Теперь мы должны заняться понятием веры, поскольку «религия прогресса» была верой, и еще больше был верой социализм. Философы много рассуждали о вере. Расселу принадлежит проницательный анализ элементарных явлений веры, но мне кажется, что объективное понимание этого важнейшего факта человеческой психики до сих пор отсутствует. Я не претендую на сколько-нибудь полное его исследование и ограничусь здесь тем, что мне нужно в этой работе.

Биологической основой явлений, объединяемых под названием веры, по-видимому, является напряженное ожидание некоторого события, важного в жизни животного. Такому событию могут предшествовать признаки, известные животному из его генетической программы или из предыдущего обучения; например, сюда относится обнаружение добычи, предшествуемое такими признаками как запах, следы или звуки, или обнаружение опасного врага, также предваряемое известными признаками. Ожидание события может вызвать у животного «приятные» или «неприятные» эмоции, которые на антропоморфном языке называются надеждой и страхом. Ожидание важного события сопровождается энергичной деятельностью (даже в том случае, когда животное подстерегает добычу без физического движения, поскольку при этом усиленно действуют гормональные механизмы), и эта деятельность очевидным образом важна для сохранения вида. Поэтому можно понять, что эволюция выработала особые механизмы, поддерживающие в такие периоды ожидания напряженное состояние психики, бдительность восприятия окружающей обстановки и готовность к физическому действию. Такие «напряженные» состояния, вероятно, и составили основу, из которой у людей развились религии и многое другое, о чем еще будет речь.

У животного могут быть и другие напряженные состояния, связанные не с ожиданием события, а с его непосредственным переживанием, например, с умерщвлением добычи, едой или совокуплением. Эти напряженные состояния, в эволюционном смысле более древние, мы назовем «низшими»; а те, в которых особую роль играет ожидание, предчувствие и моделирование будущего в центральной нервной системе, назовем «высшими напряженными состояниями». У человека события, вызывающие напряженное ожидание этого рода, могут происходить не во внешнем мире, а в его собственной голове, то есть могут быть психическими переживаниями, по той или иной причине нужными человеку; наконец, они могут быть воображаемыми событиями, которые вообще никогда не происходили и не произойдут. Такими переживаниями могут быть молитва, переживание искусства, различные формы идейного энтузиазма; назовем их, за неимением лучшего термина, экстатическими переживаниями. По-видимому, экстатические переживания составляют глубокую потребность человека, коренящуюся в его генетической наследственности и вызывающую соответствующую аппетенцию [Этим термином биологи называют инстинктивное стремление к определенным ситуациям и поведению.]. Те, кто наблюдал «танец дождя» у шимпанзе, не сомневаются, что уже у высших обезьян бывает нечто вроде экстатических переживаний. Неудовлетворение этой аппетенции приводит, как и в других случаях, к некоторым компенсирующим переживаниям, дающим неполноценное удовлетворение: кто не верует в Бога, может уверовать в какого-нибудь фюрера и с нетерпением ожидать его явления народу. Наконец, ожидаемое событие, невозможное по своей природе, может «удалиться в бесконечность», как «второе пришествие» или «построенный социализм».

Вера есть напряженное ожидание определенного рода экстатических переживаний, с направленной к ним специфической аппетенцией. Более примитивные инстинктивные побуждения, общие у человека с животными, могут какое-то время удовлетворяться компенсирующими переживаниями, но в конечном счете должны получить полноценное удовлетворение, если только человек выживает и дает потомство. Иначе говоря, полное удовлетворение этих древних побуждений очевидным образом необходимо для сохранения нашего вида. Не столь ясно, что человек не может обойтись без экстатических переживаний, составляющих очень молодое приобретение эволюции, установленное лишь у человека. На первый взгляд, психическая деятельность человека может удовлетворяться какими-нибудь легкодоступными компенсациями, описываемыми английским выражением to have fun [«Получать удовольствие». Имеются в виду

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) [развлечения, которые можно купить за деньги.] . Дело обстоит так, как будто человеческая психика разделена на нижний и верхний этажи, имеющиеся от рождения у каждого из нас; но у многих, слишком многих, верхний этаж всегда заперт, и ключ к нему потерян. Потребность, для которой устроен этот верхний этаж, в каком-то смысле компенсируется на нижнем – добавочным удовлетворением наших животных побуждений. Часто думают, что можно неплохо прожить и без верхнего этажа. Когда-то ссылались при этом на счастливую жизнь муравьев и пчел, но и тогда не все были с этим согласны. Несогласны были священники, но это объясняли их особой заинтересованностью в эксплуатации некоторых помещений верхнего этажа; они же полагали, что ключ ко всем помещениям находится в их руках.

Помещения эти в действительности так тесно связаны между собой, что вряд ли разделены на отдельные части; напротив, весь «верхний этаж» нашей психики составляет единый механизм. Центральное место в нем занимает механизм переживаний, обычно называемых «религиозными», но это название вводит в заблуждение. Дело в том, что экстатическое переживание в его физиологическом и даже психологическом аспектах нейтрально по отношению к «сюжету» переживания. Нет сомнения, прежде всего, в том, что всевозможные религии вызывают одинаковые физиологические реакции при «религиозных» переживаниях, по-видимому, управляемые гормональной системой. Если бы можно было произвести, не оскорбляя чувства верующих или чем-то вроде «скрытой камеры», объективные измерения их физиологических функций во время религиозных актов, то несомненно получились бы одни и те же результаты и у христиан, и у мусульман, и у буддизматов. Если верны эмоциональные предположения, описанные выше, то и не может быть иначе, поскольку эволюция нашего вида, вырабатывая механизмы, используемые р/емПомещения эти в действительности так тесно связаны между собой, что вряд ли разделены на отдельные части; напротив, весь «верхний этаж» нашей психики составляет единый механизм. Центральное место в нем занимает механизм переживаний, обычно называемых «религиозными», но это название вводит в заблуждение. Дело в том, что елигиями, «не могла знать», какую форму примет это использование. Христианский мистик находит в своих видениях Иисуса, деу Марию и святых, а индийский – свои «языческие» божества, но характер их переживаний, конечно, тождествен; эта констатация может оскорбить верующего, но против нее нельзя выдвинуть никаких объективных возражений.

Если в религии, происходящих от еврейской, мы находим весьма сложные сюжеты, то в индийском политеизме сюжет очень непохож на них, а в буддизме, в его первоначальной, хорошо сохранившейся до наших дней форме, нет понятия о сверхъестественном, нет личного бессмертия, и в сущности это не «религия» в нашем западном смысле слова, а философия, имеющая своим предметом непосредственные человеческие переживания. В этом случае уже видно, что «религиозное» переживание может быть в отношении своего «сюжета», то есть своей образности и системы представлений, весьма произвольно и зависит от исторических условий своего возникновения. В частности, представление о боге или о богах совсем не обязательно для формирования таких переживаний. У китайцев, подвергшихся воздействию буддизма, но не усвоивших развившегося из него идолопоклонства, по-видимому, вовсе нет богов в нашем смысле слова. Это свидетельствует о том, что «религия» в западном смысле не обязательна для существования устойчивой цивилизации, хотя и непохожей на нашу. Я не хочу сказать здесь ничего другого о китайской культуре и ссылаюсь на нее только с этой целью; дальше мы должны будем заняться другими ее сторонами. Кроме религии, источниками экстатических переживаний могут быть искусство, художественная литература и наука. Искусство и литература всегда были тесно связаны с религией: музыка, живопись и скульптура в значительной степени развились на службе религии, а священные книги различных религий положили начало возникновению ряда национальных литератур. Впоследствии искусство и литература освободились от связи с религией и в некотором смысле могут ее заменить, о чем еще будет речь. Утверждают, что в жизни китайцев и японцев эстетические переживания в значительной степени заменяют религиозные переживания европейцев. Наконец – и это очень важно – непосредственные отношения между людьми, в особенности между мужчиной и женщиной, всегда были источником важнейших экстатических переживаний и предметом веры – за исключением случаев крайнего вырождения культуры. Есть все основания полагать, что «сверхъестественные силы», давно уже не принимаемые в расчет в практических делах, потеряют также значение в эмоциональной жизни человека. Их заменят непосредственные переживания от человеческого общения и творчества.

\*\*\*

глубоко коренятся в инстинктивных побуждениях человека. На каждом этапе развития культуры люди вкладывали в эти переживания конкретное содержание или, как мы предпочитаем говорить, конкретный сюжет. Этот сюжет менялся от представлений первобытного анимизма до политеизма и, наконец, до монотеистических религий. Разнообразие сюжетов свидетельствует о независимом развитии отдельных культур (при всех взаимных влияниях и скрещиваниях этих культур в отдельные моменты их истории); а однотипность этих сюжетов и их частое повторение говорят о генетически обусловленной потребности в таких переживаниях, развивавшейся на одном и том же уровне материальной культуры в разных племенах. Религии исполняли, конечно, функции примитивной «науки» о природе, в которой можно различить «теоретическую» часть – всегда присутствующую в них «космологию» – и «прикладную», связанную со страхами и желаниями человека. Злые и добрые духи, а впоследствии боги, в сущности всегда человекоподобны, то есть наделяются человеческими эмоциями и мотивами поведения, но на ранних стадиях религиозного мышления они обычно маскируются внешним обликом каких-нибудь важных для человека животных. По-видимому, это объясняется присущим примитивному человеку ощущением собственной слабости: человеческий облик бога не выражал бы подобающих божеству атрибутов – могущества, спокойствия и уверенности. Человек все еще представлял себе свои идеализированные качества в животном выражении, что сохранилось и в современном языке: могуч, как лев; мудр, как змий. Постепенно, ощущая себя более сильным и уверенным, человек освобождает своих богов от их животных масок; сначала появляются химерические божества, люди со звериными головами – как у египтян и индийцев – и, наконец, у греков боги изображаются уже в виде прекрасных и сильных мужчин и женщин. Греческий Олимп – это вершина политеизма и его завершение.

Но эволюция религий, как и всякая эволюция, никогда не довольствуется законченным результатом – если только условия среды не постоянны, и если требуется снова и снова приспосабливаться к их изменению. Средой человека очень рано стала преимущественно его человеческая среда; то есть условия жизни того человеческого сообщества, где он живет, начинают определяться не столько окружающей природой, сколько взаимными отношениями людей и отражением этих отношений в психике отдельного человека. На некотором этапе истории «языческие» боги – даже человекоподобные – перестают удовлетворять потребности верующего. Они выражают, конечно, идеализированные атрибуты человека, но развитая психика находит этих богов недостаточными идеальными: человеческие свойства являются в них со всем их несовершенством и противоречат друг другу, поскольку боги постоянно ссорятся и сражаются между собой. Наконец происходит следующая культурная революция: многообразие богов заменяется единым богом, тоже весьма человекоподобным в своих эмоциях и мотивах, но более идеализированным и менее конкретным. Последнее очень важно, так как чрезмерная конкретность языческих богов, со всем их человекоподобным поведением, не внушает больше почтения развившемуся сознанию. Первым народом, коллективно принявшим монотеизм, были евреи [Еще раньше монотеизм и даже пантеизм возникали в Индии, но никогда не становились там массовыми религиями. То же относится и к «первоначальному» буддизму.]. Примечательно, каким образом стремление к большей идеализации божества привело у них к запрету изображать его и даже произносить его имя. Адаптация еврейской религии к традициям других народов произвела две «мировых» религии – христианство и ислам, первая из которых, впрочем, основательно «оязычила» еврейского бога, пристроив к нему «Сына», «Святой Дух», «Богоматерь» и целую галерею «святых».

Последняя, самая радикальная культурная революция подготовлялась в недрах христианского общества в эпоху Возрождения и одержала окончательную победу в течение столетия, начавшегося в середине XVIII века и завершившегося в середине XIX. Вера в христианского бога была подорвана развитием науки и изменением всего образа жизни и мышления европейцев. Со второй половины XIX века живая, обязывающая к поступкам вера в бога встречается все реже среди образованных людей, и неверие неудержимо распространяется в массах. Как известно, идеи «атеизма» были в осторожной форме высказаны английскими деистами и агностиками XVII века, а в XVIII веке были доведены до логического завершения и превращены в доктрину воинствующего безбожия французскими философами. Не останавливаясь на истории этого идейного переворота, напомним имена его главных деятелей. В Англии атеизм подготовили – вовсе этого не желая – Локк и Юм, а во Франции его сознательно формулировали, хотя и с понятными предосторожностями, авторы Энциклопедии, и прежде всего Дидро и Даламбер. Первой книгой, где прямо и недвусмысленно отрицалось все сверхъестественное, была «Система природы» Гольбаха, опубликованная под псевдонимом в 1770 году; но, конечно, атеистические идеи были к тому времени обычны среди образованных людей.



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Вторая половина XVIII века справедливо получила название «эпохи Просвещения». Смысл и значение этой эпохи до сих пор плохо поняты, и нам придется остановиться на этом вопросе. Без сомнения, читатель заметит в моем следующем изложении идеи Швейцера; но то развитие, которое я ей даю, принадлежит мне, и я один несу за него ответственность.

\*\*\*

Обычно думают, что Просвещение было делом людей, лишенных веры, а те, кто ему сопротивлялись, были защитники веры. Не может быть большего заблуждения. Деятели Просвещения, «энциклопедисты» и их друзья, были люди пламенной веры, а их противники были неверующие чиновники церковной и светской службы, без всякого убеждения и энтузиазма защищавшие интересы своих хозяев. Напрасно искать среди них энергичного сторонника старой религии: таких мы обнаруживаем уже в XIX веке, во время реакции. Но и эти запоздалые защитники лишены живой веры; ими движет политический консерватизм, а религия их бескрыла. Кто знает теперь, какие аргументы выдвигали де Местр или Шатобриан? Парадокс Просвещения состоит в том, что люди, действительно находившиеся в состоянии веры и проповедовавшие свою веру, считались противниками и разрушителями того, что в то время только и называлось верой. В самом деле, тогда не представляли себе, что можно верить во что-нибудь кроме бога – все равно, какого бога; верующему еврею или мусульманину не отказывали в вере, говорили только, что у них «ложная вера». Но какая вера могла быть у атеиста? Очевидно, человек без всякой религии мог быть только разрушителем веры; все его мысли объявлялись деструктивными, и для них искали самые простые мотивы.

Между тем, просветители верили; они верили в человеческий Разум или, что то же самое, в Прогресс. Читая книги того времени, вы ощущаете живое дыхание этой веры; а сочинения их противников удручающе холодны, рассудочны и бессильно цепляются за авторитет. Это было столкновение старой и новой веры, точно такое же, каким было возникновение христианства; и точно так же сторонники старой веры не принимали новую веру всерьез и, конечно, отказывали ей в достоинстве религии. Впрочем, на этот раз и сама новая вера уже не называла себя религией; а в таком случае, как полагали, ее сторонникам и не во что было верить. Здесь мы сталкиваемся с тяжким заблуждением, порожденным нашей слепой верой в слова [24]. Точно так же, как евреи когда-то запретили себе произносить имя бога, сторонники новой веры отказались называть свою веру религией – и точно так же, как язычники попрекали евреев, что у них нет настоящего, видимого бога, и пытались связать их веру с постыдными предметами, церковные апологеты оклеветали просветителей, объявив их разрушителями, не знающими ничего святого, и приписав им всевозможные низменные мотивы. Церковники могли говорить все это в очень удобных для них условиях, потому что реакция, воцарившаяся в Европе после поражения Французской революции, весьма затруднила выражение каких-нибудь других взглядов: как всегда, они опирались на власть, и сами были властью. Радикальный поворот в человеческих верованиях, который принесло Просвещение, заслуживает пристального внимания.

Прежде всего, я хочу навсегда отказаться от слова «религия». Пусть это старое слово останется связанным с верой в сверхъестественные силы, то есть в чудеса. И пусть человеческая вера, не принимающая чудес и согласная с законами природы, больше не называется религией; я не буду больше говорить – даже в кавычках – о «религии Прогресса такую веру религией, и мы без сожаления отказываемся от этого имени. Но мы помним, что идеи гуманизма зародились в лоне великих мировых религий, и от этого наследства не отказываемся. Это наследство мы называем гуманизмом.

\*\*\*

Вера в прогресс, то есть вера в человеческий разум, сменившая веру в бога в умах мыслящих людей, означала великий акт освобождения от поработивших человека произведений его собственного воображения. Уже в древнейшие времена некоторые люди догадывались, что боги – всего лишь фантастическое изображение тех или иных свойств человека. По сообщению одного из «отцов церкви» Евсевия, египтянин Санхуниатон пытался истолковать мифы своих соплеменников как поэтизированные истории некогда живших героев, которые были попросту людьми. То же утверждал в третьем веке до нашей эры грек Евгемер, от которого пошло направление истолкования мифов, именуемое «евгемеризмом». Например, неверующий историк религии Ренан полагал, что Иисус Христос в действительности существовал, но был не сын божий, а просто добродетельный, во всех отношениях образцовый человек; это несомненный евгемеризм. Очень рано, в шестом веке до нашей эры, греческий философ

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Ксенофан учил, что боги созданы людьми «по своему образу и подобию» (а не наоборот, как говорит Библия); вот прозаический перевод его стихов:  
«Смертные люди воображают, что боги были рождены, как и мы, что они имеют облик, одеяние и язык. Но если бы рогатые скоты и львы имели руки, умели рисовать и ваять статуи, то животные создали бы богов по своему образу, так что боги лошадей были бы как лошади, а боги быков – как быки».

И в самом деле, все народы представляют себе богов наподобие самих себя; например, боги черных были тоже черны (а дьяволов они изображали белыми, вероятно, по контрасту). Но и Ксенофан верил еще в единого, невидимого бога, обитающего в небесах. Ясное понимание великого маскарада религии, изображающего в боге идеальные качества человека, принадлежит Людвигу Фейербаху. Вероятно, вы помните, какое потрясающее, освобождающее действие произвела на молодого Герцена его книга «Сущность христианства», о чем он так вдохновенно рассказал в своих воспоминаниях. А между тем эта книга написана все еще старомодным гегельянским языком, использующим унаследованную от христианства терминологию, так что нынешний неискушенный читатель, может быть, не сразу догадается, что перед ним решительный атеист. Фейербах возвращает человеку все его качества, которые тот отделил от себя и подарил своему богу. Отныне бог окончательно упразднен: он не только отвергнут человеческим разумом, но и разоблачен как переодетый человек.

Вера в человека предполагает, что человек способен жить и действовать без бога, полагаясь на свой разум. С точки зрения всех религий это величайшее заблуждение. Христианская религия особенно подчеркивала, что «человек слаб и подл», как говорит у Достоевского Великий Инквизитор. Человек должен чувствовать себя жалким грешником, ни на что не способным без воли божьей, должен всю жизнь страшиться своего Господа и уповать на его милость, здесь и там – в потустороннем мире. Это глубоко рабская психология, переносимая на небесного господина те чувства, какие раб испытывает к своему земному хозяину. Никакие ухищрения богословов не могут снять с религии этой печати рабства, столь явственной в Ветхом Завете. Основой религии всегда был страх божий, и где этого страха больше нет (как нет его в окружающем нас, достаточно жалком обществе), там нет и религии. И как раз вера человека в свои силы, означающая его космическое бесстрашие, особенно ненавистна христианской церкви. Епископ Боссюэ считал такую веру прямо тождественной ереси. Напомню еще раз его определение еретика: «Еретик – тот, кто доверяет своему разуму и руководствуется собственным мнением». Читатель не должен думать, что это ироническое преувеличение; это подлинное определение ереси, извлеченное из векового опыта церкви. Кто доверяет своему разуму, тот потерян для религии – что бы он ни утверждал, и во что бы он ни верил.

Ясно, что такая революция в человеческом мышлении и чувствовании дается нелегко и происходит не скоро. Для утверждения христианства потребовалось несколько столетий, и даже Реформация, покончившая не с самой религией, а лишь с грубыми видами идолопоклонства, стоила Европе великих усилий. Христианство проложило себе дорогу через великие ереси, угрожавшие заменить его другими религиями, а Реформация вызвала контрреформацию и бесконечные религиозные войны. Вера в человека – которую мы раньше называли верой в прогресс, а дальше будем называть гуманизмом – тоже проходит тяжелые испытания. Она прошла уже через великую ересь «коммунизма», а теперь переживает реакцию «консерватизма». Я вижу двуглавого орла на монетах, трехцветные флаги на улицах, и мне кажется, что это дурной сон. Но это не сон, а смешные символы реакции отсталого человеческого духа; отсталость эта совсем не смешна, и утешает меня лишь ее очевидная глупость. Враги разума, как свидетельствует история, не всегда были его лишены.

#### 4. Цель культуры

Целью любой культуры является человеческая личность. Культура создает человека. Из аналогии, уподобляющей историю культуры истории биологического вида, можно было бы заключить, что целью культуры является ее самосохранение, – если употреблять слово «цель» в его биологическом, то есть условном смысле. Но эволюция в действительности не имеет целей; цели ставят себе только люди. Люди, принадлежащие некоторой культуре и осознавшие себя ее творцами, могут спрашивать себя, какие цели они намерены

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) поставить перед нею; и здесь уже слово «цель» употребляется в его прямом смысле, в котором оно и понимается дальше. Какова же может быть цель культуры?

Целью культуры может быть только воспитание человека. Я имею в виду отдельную человеческую личность, свободное развитие, счастье и совершенство которой является высшей ценностью гуманизма. Поскольку человек может жить только в обществе людей, это значит, что общество должно быть устроено и должно всегда устраиваться так, чтобы способствовать развитию отдельного человека; сочетание условий этого развития называется воспитанием. «Цель» в биологическом смысле, то есть простое сохранение культуры, не является ценностью гуманизма; она принадлежит другой системе ценностей, которую можно назвать «коллективизмом». Источником этой системы ценностей было первобытное племя, ее первым литературным выражением – чудовищный трактат Платона «Государство», а ее реализациями – Спарта, управляемый иезуитами Парагвай и современный фашизм. Выбор между ценностями коллективизма и гуманизма, как и всякий выбор между ценностями, кажется не зависящим от рациональных аргументов и определяется, по-видимому, нашими вкусами и, в конечном счете, нашим воспитанием. Но можно показать, что коллективистская система ценностей не только не способна сохранить единую человеческую культуру, складывающуюся теперь на Земле, но даже отдельную племенную и национальную культуру, хотя и может принести ей временные успехи. Человек не приспособлен своей эволюцией к функции муравья или пчелы: для коллективизма он слишком сложен.

Протагору приписывается изречение: «человек – мера всех вещей». Это и есть подлинная сущность гуманизма. Гуманизм – это прежде всего этическое учение, учение о том, как человек должен вести себя по отношению к другим людям; но гуманизм этим не исчерпывается. Дальнейшей его ценностью является некоторый идеал человека и, тем самым, идеал человечества, без которых мы погрузились бы в самодовольную неподвижность конфуцианства. Но об этом – потом.

Теперь же мы должны понять, в чем состоит и откуда происходит этика гуманизма. «Прогресс», конечно, должен привести к лучшему обществу, то есть прежде всего к обществу с лучшими отношениями между людьми. Кто понимает «прогресс» как совершенствование техники (или даже науки), попросту не понимает, о чем идет речь. Ведь машины служат людям, и если людям нехорошо, то совсем не важно, каковы их машины. Итак, мы проследим происхождение этических принципов гуманизма: они стары, как мир, и, конечно, их первоначальным назначением было сохранение вида – природа не заботится об отдельных особях, а только об их числе. Мы уже говорили об инстинктах, корректирующих действие внутривидовой агрессии. Вместе с половым инстинктом они уравнивают наше инстинктивное стремление к изгнанию ближнего из наших владений, то есть наш животный консерватизм. Из этих инстинктов человеческое общество изготовило свои понятия о добре и зле. Мы уже говорили, что это привело к возникновению во всех племенах по существу аналогичных правовых систем, различавшихся уровнем глобализации этических понятий. Наиболее широкое понимание этики возникло в христианской религии, из которой и развились идеи гуманизма [Если речь идет о гуманистических идеях, развившихся в Европе, это исторический факт. А поскольку вера в прогресс и социализм тоже возникли в Европе, я не занимаюсь этими же элементами гуманизма, бесспорно имевшимися и в других религиях.]. Христианство – и предшествовавшая ему иудейская религия – возникли во времена суеверия и жестокости. История этих религий полна бесчеловечных преследований, нетерпимости и высокомерия по отношению к иноверцам. Но таков был путь всего, что нам особенно дорого. И то, к чему мы пришли, далеко вышло за пределы религии, проделавшей этот путь.

## 5. Истоки этики гуманизма

В основе христианской этики лежат десять заповедей, данных богом Моисею, и учение Христа, изложенное в Нагорной проповеди. Этические заповеди, относящиеся к ближним, поставлены после обязанностей перед богом, которые нас здесь не будут интересовать. Первые из них выражают два основных запрета, в той или иной форме лежащие в основе всех культур: «Не убивай» и «Не прелюбодействуй». Замечательно, что они формулируются самым общим образом и логически относятся ко всем людям вообще, хотя на практике

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
их применение, вероятно, ограничивалось вначале соплеменниками. Эти два запрета охраняют личность ближнего и его семью. Четвертый запрещает ложь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Третий и пятый охраняют собственность ближнего: «Не кради», «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». (Исход 20:13–17)

Но собственность на землю ограничивается: «Землю не должно продавать навсегда; ибо Моя земля; вы пришельцы и поселенцы у Меня. По всей земле владения вашего позволяйте выкуп земли». (Левит 25:23–24). Вы узнаете здесь исконное верование русских крестьян, которое, по-видимому, лишь поддерживалось их пониманием религии, но скорее всего происходило от древнейших представлений о собственности, сохранившихся у всех народов. В юбилейный год Библия даже предписывает освобождение рабов: «И освятите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее; да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». (Левит 25:10). Строго запрещается ростовщичество: «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего; чтобы жил брат твой с тобою. Серебра не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли». (Левит 25:35–37). Помните, что «моральные правила», на которых должен быть построен «расширенный порядок», то есть капитализм, прямо происходят от религии, повеления которой вы только что прочли. Надо ли удивляться, что лучшие из верующих всегда сомневались в справедливости этого порядка? И можно ли рассчитывать, что потерявшие веру сохраняют эти правила, после того как вся их мораль отрезана от питающих ее корней?

Общая формулировка Синайских заповедей была не случайна, а глубоко связана с начавшимся процессом распространения этических правил на «чужих», не членов своего племени. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». (Левит 19:18). Среди всех ужасных угроз и наставлений карающего бога мы читаем удивительные вещи: «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; любите его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь Бог ваш». (Левит 19:33–34). «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца; ибо я Господь Бог ваш». (Левит 24:22). Это последнее заявление следует почти сразу же за ужасным правилом: «Око за око, зуб за зуб» – вспомните, что Библии три тысячи лет.

Процесс глобализации морали постепенно приводит к представлению, что вера важнее «крови», племенной принадлежности. Это небывалое прозрение и осуждение войн мы находим уже в VIII веке у Исайи, первого из пророков израильских:

«И будет в последние дни, гора для дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он вас Своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». (Исайя 2:2–4).

И дальше Исайя устами своего Бога провозглашает первую из всех Утопий:

«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет малолетнего и старца, который не достигал полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их.

Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева; и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих[25].

Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, – Я отвечу; они еще будут говорить, а Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь». (Исайя 65:17–25).

Я выделил в середине фразу, где Исайя проповедует социальную справедливость; и если кто-нибудь сомневается в его утопическом социализме, то в последней части пророчества почти буквально слышатся излюбленные

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
фантазии Фурье. Но Господь Исайя не так кроток, объясняя человеку его долг:

«Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, – день, в который человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли называют постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; когда увидишь нагого – одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». (Исайя 58:4–8).

Через два века пророк Иезекииль подтверждает эти правила, по-видимому, широко известные в Израиле: «Если кто праведен и творит суд и правду <...> никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он – праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». (Иезекииль 18:5,7–9). И в той же главе мы видим, как сам еврейский Бог смягчает свои угрозы: «Вы говорите: «почему же сын не несет вины отца своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои исполняет и соблюдает их; он будет жив. <...> И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. <...> Разве я хочу смерти беззаконника? Говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» (Иезекииль 18:19,21,23).

За пятьсот лет до Христа раввин Гиллель изложил всю мораль своей религии в краткой заповеди: «Не делай ближнему того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе».

Несомненно, еврейские пророки выражали отчаяние и протест угнетенных. Мы знаем о них лишь то, что включили в Ветхий Завет осторожные раввины, всегда державшие сторону сильных и богатых и не столь чувствительные к страданиям ближнего, как Гиллель. До нас дошли главным образом призывы к благочестию и милосердию, но социальные мотивы пророков были, несомненно, смягчены. Возможно, самые откровенные из этих пророчеств касались и самих жрецов больше, чем это видно из нашей Библии. То, что мы знаем из египетской и вавилонской литературы, содержит такие же настроения, без сомнения влиявшие на более молодую литературу евреев. И, конечно, мы можем во всех случаях прочесть о них лишь то, что передали нам люди, умевшие писать.

Не меньшей фальсификации подверглись священные книги христиан. Христос, о котором мы можем судить по евангелиям и некоторым апокрифическим текстам, изображается в них как последний из еврейских пророков, пришедший «не отменить, но исполнить» еврейский закон. Мы знаем, что ему предшествовало много других, с очень близкими учениями, следы которых дошли до нас в кумранских свитках. Но с Христа начинается новая религия, обращенная не только к евреям, но и к «язычникам», хотя сам Иисус, как видно из евангельской истории с хананейкой, еще колебался проповедовать им; ведь он сказал апостолам: «Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и в самарянский город не заходите. Идите прежде всего к потерянному овцу народа Израиля». Но жребий был брошен, и новое учение быстро распространилось среди бедных и униженных всех народов. Нет сомнения, что Иисус был на стороне бедных. Вот решающее место, которое я выписываю из старейшего евангелия от Марка, в точном переводе:

«Когда Иисус отправился в путь, к Нему подбежал человек и, упав перед Ним на колени, спросил:

– Добрый Учитель, что мне делать, чтобы получить вечную жизнь?

– Почему ты называешь меня добрым? – сказал Иисус – Один Бог добр. Ты знаешь Его заповеди: не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не давай ложных показаний, почитай отца и мать.

– Учитель, я с юных лет соблюдаю все это, – ответил тот Иисусу.

Иисус взглянул на него, и он сразу Ему полюбился. Иисус сказал:

– Одного тебе не хватает. Иди, все продай, что у тебя есть, и раздай бедным. Тогда твое богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за Мною.

Но тот помрачнел от этих слов и ушел печальный: он был очень богат. Иисус, оглядевшись, сказал ученикам:

– Как трудно богатым войти в Царство Бога!

Учеников изумили его слова. Но Иисус повторил:

– Дети, как трудно войти в Царство Бога! Легче в. Этические заповеди,

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) относящиеся к ближним, поставлены после обязанностей перед богом, которые нас здесь не будут интересовать. Первые из них выражают два основных запрета, в той или иной форме лежащие в основе всех культур: «Не убивай» и «Не прелюбодействуй». Замечательно, что они формулируются самым общим образом и логически относятся ко всем людям вообще, хотя на практике их применение, вероятно, ограничивалось вначале соплеменниками. Эти два запрета охраняют личность ближнего и его семью. Четвертый запрещает ложь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Третий и пятый охраняют собственность ближнего: «Не кради», «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». (Исходерблюду пройти через игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». (Марк 10:17–26).

Вы помните, что сам Иисус был сын плотника, а все его ученики были бедные люди. Мы не знаем ничего достоверного об Иисусе и апостолах, но люди, писавшие евангелия, несомненно отразили настроения первых христиан. Важнейшей частью учения Христа считается Нагорная проповедь, содержащаяся в евангелиях от Матфея и Луки. В обоих начало проповеди подверглось фальсификации церковников, . Этические заповеди, относящиеся к ближним, поставлены после обязанностей перед богом, которые нас здесь не будут интересовать. Первые из них выражают два основных запрета, в той или иной форме лежащие в основе всех культур: «Не убивай» и «Не прелюбодействуй». Замечательно, что они формулируются самым общим образом и логически относятся ко всем людям вообще, хотя на практике их применение, вероятно, ограничивалось вначале соплеменниками. Эти два запрета охраняют личность ближнего и его семью. Четвертый запрещает ложь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Третий и пятый охраняют собственность ближнего: «Не кради», «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». (Исходнесомненно желавших сделать свою религию приемлемой для богатых и знатных. Они превратили «бедных» в «нищих духом», то есть необразованных или неумных, полностью извратив этим то, что было, очевидным образом, в первоначальных текстах[26]. Вот это место, как его передает точный научный перевод [цитаты из евангелий приводятся по переводу с греческого оригинала В. Н. Кузнецовой, прошедшему тщательную редакцию ученых, но, разумеется, не одобренному церковью (Москва, «Наука», 1993).] ; мы берем его из более полного в этом случае евангелия от Луки (Лука 6:20–26):

Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил:

– Радуйтесь, бедные!

Царство Бога ваше.

Радуйтесь, кто голоден теперь!

Бог вас насытит.

Радуйтесь, кто плачет теперь!

Вы будете смеяться.

Радуйтесь, когда люди вас ненавидят

и когда изгоняют, оскорбляют и чернят ваше имя –

и все это из-за Сына человеческого.

Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости!

Вас ждет на небесах великая награда!

Ведь точно так же поступали с пророками

отцы этих людей.

И напротив, горе вам, богатые!

Вы уже натешились вдоволь.

Горе вам, кто сыт теперь!

Вы будете голодать.

Горе вам, кто смеется теперь!

Вы будете рыдать и плакать.

Горе вам, когда хвалят вас все люди:

точно так же хвалили лжепророков

отцы этих людей».

В оригинале эти стихи имеют отчетливую ритмическую структуру, как и во многих местах евангелий; она выделена расположением текста.

Все поучение делится на две половины, противопоставленные друг другу с помощью формальных сравнений: первая говорит о бедных, вторая о богатых, и все сказанное о первых противоположно сказанному о вторых. Первым обещана награда на небесах, вторым рыдания и плач; первые следуют за Иисусом и подвергаются за это гонениям и унижениям, вторые же «хвалят лжепророков», но не приемлют учение Христа. Ясно, что «богатые» во второй половине поучения – это богатые в обычном смысле: они «сыты теперь» в смысле телесной, а не духовной пищи. Но тогда в антитезе – в том, что говорится о бедных – никак не могло быть «нищих духом»: если истолковать их «голод» и

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«насыщение» в переносном смысле, как «духовный голод» и «духовное насыщение» (что нам подсказывает переводчик), то выходит, что Иисус противопоставляет материально богатым и телесно сытым «нищих духом», то есть необразованных и неумных, жаждущих просвещения его учением. Теряется все намеренное построение антитез: ведь в каждой из половин, в свою очередь, есть две части, первая из которых говорит о социальном положении учеников Иисуса или его противников, вторая же – об их духовной установке по отношению к его учению. Автор очень тщательно построил все это, а переводчик-церковник все разрушил [В первой строке Нагорной проповеди в евангелии от Матфея читаем в точном переводе: « – Как счастливы те, кто беден перед Господом!» В церковном тексте находим опять «нищих духом». У Матфея здесь вообще не говорится о богатых.] .

Мы не знаем, был ли Иисус и была ли Нагорная проповедь (очень похожая на другие дошедшие до нас проповеди того времени, не связанные с Иисусом). Но настроение, выраженное автором евангелия, не вызывает сомнения: проповедь Христа обращена к бедным, а богатые смеются над ней. Церковь, ставшая организованной иерархией и стремившаяся занять положение господствующей церкви в империи, добивалась поддержки богатых и знатных, тяготилась уже своим положением религии бедняков. Поэтому она подвергла христианскую литературу строгой цензуре, сохранив (очевидно, в отредактированном виде) лишь четыре канонических евангелия и тщательно уничтожив все другие «евангелические» писания. От этих «апокрифических», то есть «скрытых» сочинений до нас дошло очень немного, да и то почти исключительно в отрывках. По этим отрывкам можно судить, какие вещи содержались в отверженных евангелиях. Например, некоторые сектанты составляли трицу из Отца, Матери и Сына (как это и было в многочисленных трицах восточных религий, и в соответствии с тем, что «дух», из которого сделали «Святого Духа», по-еврейски слово женского рода «руах»). Магомет, не знавший грамоты и усвоивший идеи христианства от христианских сектантов в Аравии, на периферии христианского мира, только так себе и представлял Святую Трицу. Далее, из канонических евангелий нельзя было изъять слишком известные места о братьях и сестрах Иисуса, и пришлось выдумать, будто этим именем назывались то ли дети Иосифа от вовсе не известного первого брака, то ли двоюродные братья. Святой Иероним, переводчик библии на латинский язык, ссылался на то, что в арамейском языке (диалект еврейского, на котором были, якобы, написаны первые евангельские тексты), нет отдельного слова, означающего двоюродного брата; но до нас дошли только евангелия на греческом языке, в котором такое различие всегда было. Первые христиане, как можно доказать по ряду источников, не сомневались, что у Иисуса были братья и сестры, зачатые Марией от Иосифа после него; это их нисколько не смущало. Апокрифическое «Евангелие от Филиппа» называет Марию Магдалину женой Иисуса, и так далее.

Я рассказываю все это, чтобы подчеркнуть, насколько искажены канонические евангелия редакционной правкой и «гармонизацией». Нет сомнения в том, что первоначальное учение христиан гораздо сильнее выражало социальный протест бедных и униженных против богатых и знатных. Впрочем, христианство само свидетельствовало о своем происхождении, сделав своим пророком сына плотника, казненного позорной, предназначенной для рабов смертью на кресте. Это была религия бедных и униженных, простых и неученых. Весь Новый завет написан на простонародном греческом языке (койне), внушавшем презрение образованным людям того времени, воспитанным на аттическом языке эпохи Перикла. Христианство пришло снизу, из среды презираемых в древности людей физического труда, ремесленников и рабов. Что же дало этим людям учение Христа? Чем победило оно в соревновании с множеством других религий?

Среди преимуществ христианского вероучения я поставил бы на первое место то, что можно было бы назвать психологическим открытием Иисуса Христа. Он открыл психическую установку, с которой бедный и униженный мог считать себя лучшим человеком. Вот что он говорит:

« – Вы знаете, что у всех народов первые люди правят ими и великие ими владеют. Но у вас пусть будет не так: пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, пусть будет для всех рабом». (Марк 10:42–44).

Конечно, все это предлагается как урок смирения, но нельзя здесь не узнать призыв Интернационала: кто был ничем, тот станет всем. «Многие, кто были первыми, станут последними, а последние – первыми». (Мат. 19:30); вероятно, «многие» приставлено редакторами текста, вставившими это крылатое

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
выражение, уже неустраняемое из памяти верующих, в контекст «вечной» жизни. И многое другое уже нельзя было устранить из писания, хотя все это не шло к образу кроткого проповедника из Галилеи:

«Не думайте, что Я пришел установить мир на земле.

Не мир пришел Я установить,  
Но войну развязать». (Матфей 10:34).

«Огонь пришел Я принести на землю,  
и как Я жажду, чтобы он уже разгорелся!» (Лука 12:49).

«Вы думаете, Я пришел дать земле мир?

Нет! – говорю Я. –

Разделение!» (Лука 12:51).

«Пусть тот, у кого есть деньги, возьмет их, пусть возьмет и суму, а у кого нет, пусть продаст свою одежду и купит меч». (Лука 22:36).

Галилея считалась у евреев мятежной страной, во многих местах евангелий видно, что в Иудее галилеян попросту считали разбойниками. Прежде, чем разрушить храм, римлянам пришлось подавить яростное восстание Галилеи.

Вообще, вся история жизни Иисуса и все его изречения подверглись такой же обработке, как история революции после смерти Ленина. Советская идеологическая система была поразительно похожа на церковную – недаром ее устроил человек, учившийся в духовной семинарии. И мы, в России, сами наблюдали процесс церковной фальсификации, очень похожий на процесс изготовления евангелий. Нам все это легче понять.

Но мы должны говорить о евангельском Христе, а не о том, кто был распят как мятежник: об Иисусе «в белом венчике из роз», во главе двенадцати смиренных.

Представим себе психическое положение бедного человека в древнем мире. В социальном смысле он был бесправен и слаб: сила и право тогда были практически тождественны с богатством – еще больше, чем теперь. Его не защищала даже юридическая фикция «равенства людей перед законом», которая еще не была изобретена. В больших городах Ближнего Востока, где возникло христианство, неравенство было очевидно, и оно воспринималось, как унижение. Это было смешанное общество, из людей разных племен и всех общественных положений, уже совсем не похожее на патриархальное общество, с его сакральным, освященным веками строем. Богатый и сильный, противостоявший здесь бедному и слабому, был ему чужой, не вызывал у него традиционного почтения; агрессивность, усиленная скученностью городской жизни, легко переходила в ненависть – ту самую, которую мы называем классовой ненавистью.

Гражданское общество того времени было построено на принципе вражды. Человек должен был любить только близких (откуда и произошло, путем обобщения, слово «ближний»). Близкими считались члены своего племени или своей общины, на которых полагалось распространять, насколько возможно, положительные эмоции; всех остальных людей полагалось ненавидеть. Даже в мирных условиях нормой отношения к ним были настороженность и подозрительность, часто переходившие в безудержную ярость «войны всех против всех».

Ненависть составляла основной фон психической жизни бедного человека. В таких городах, как Иерусалим, Антиохия, Александрия, было слишком много «чужих», и бремя ненависти было тяжело. К тому же эта ненависть очень часто была пропитана завистью: униженный мог внутренне предпочитать положение унижающего, считая его лучше себя. Вообще, ценности любого общества чаще всего формируются как ценности его господ, распространяясь затем на подсознательные установки всех его членов. В столкновении бедного и слабого с богатым и сильным обе стороны могли держаться одного и того же представления о том, кто из них «лучше»: у бедного не было психической установки, с которой он мог бы положительно оценить самого себя. Христос дал ему такую установку, предписав ему любить всех «ближних», в том числе своих врагов.

На пятьсот лет раньше ту же проблему решал Будда, но пришел к другому решению. Понимая, что любовь и ненависть неразрывно связаны друг с другом, как полюсы одного и того же механизма, Будда решил отключить весь этот механизм «желания»: тогда исчезнет ненависть и вообще всякое страдание – ничего не желая, человек обретает душевный покой. Но буддийский святой, тем самым, перестает быть «нормальным» человеком. Решение Будды – это уход от мира, акт отчаяния, выражающий безысходное рабство этого мира. Поэтому «чистый» буддизм и не стал массовой религией.

Решение Христа было в том, что он «осудил» полюс ненависти и «оправдал» полюс любви. Он изобрел психологическую фикцию всеобщей любви. Дело в том, что человек биологически не способен любить – в точном и прямом смысле этого слова – всех своих собратьев по виду. Он не способен даже «прощать» их – если только он не мудрец, отвечающий жалостью на поступки оскорбителя,



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) чаще всего проявляющего – банально и механически – свой социальный статус. Может быть, именно этого и хотел Христос. Но мудрецов немного, а решение было для всех.

Для «простого человека» предложенное Христом решение сводилось к тому, что ненависть «вытеснялась» в подсознание, в смысле Фрейда, а в сознании утверждалась фикция любви. В действительности христианин мог любить не больше людей, чем язычник, но радикально менялась его сознательная установка по отношению к людям – в некоторой мере влиявшая и на его подсознание. Он должен был соблюдать некоторые правила обращения с «ближними», заменявшие предписанную любовь – как мы это пытаемся делать в нашем «гражданском обществе» теперь. Это не только облегчило бремя ненависти, угнетавшее бедного человека, но и дало ему ощущение превосходства: христианин мог чувствовать себя праведником, каким и должен быть человек, а своего угнетателя считать грешником, каким человек быть не должен. Отныне лучшим человеком был он. Мечта о лучшем мире, где «последние станут первыми, а первые – последними», перемещается в фиктивный мир религиозного мышления и остается там две тысячи лет.

Глобализация любви к ближним была, конечно, выражением настроения, сложившегося в многонациональных сообществах Римской империи. Единство человеческого рода и принципиальное равноправие всех людей не могли быть выражены ни одной из старых, «племенных» религий, потому что у каждого племени были свои боги. Единому человечеству нужен был единый бог, не связанный с исключительными обычаями одного из племен. Еврейский бог имел важное преимущество над другими богами: он был один и не терпел соперников. Единственный бог имел больше шансов быть принятым всеми племенами, даже если он был для них новым богом. Для этого надо было приспособить еврейского бога к понятиям и привычкам других народов. Вряд ли об этом думал Иисус; эту задачу выполнил Павел из Тарса. Идея Павла, что для бога нет «ни эллина, ни иудея», означала величайший переворот в человеческой психике: возникло понятие человека вообще, с общими для всех людей правами и обязанностями – сначала перед богом, а потом перед людьми и перед самим собой.

Другая сторона христианского вероучения, особенно важная для нашего исследования – это принятые им фиктивные способы удовлетворения человеческих нужд. Реальные потребности человека – материальные и духовные – во время рождения христианства не могли быть удовлетворены. Об этом не умели даже думать: в античном мире, где было много выдающихся мыслителей, отсутствовало всякое представление об изменении общества сознательными усилиями людей. Поэтому греко-римская цивилизация была обречена на гибель, а человечество – на тысячелетнюю тьму.

Все надежды человека связывались с действием сверхъестественных сил, то есть с обещаниями какой-нибудь из религий. «Официальные» религии того времени мало обещали человеку как отдельной личности: они служили для защиты государства, первоначально «своего» города-государства, но потом уже огромной, чуждой отдельной личности военно-бюрократической империи. В недрах этих религий или вне их созревали более человеческие или, лучше сказать, более чувствительные к человеческим нуждам и надеждам мистические верования. Мы мало знаем об элевсинских мистериях, о народных культах сирийцев и поздних египтян, но в них были элементы, которых явно недоставало официальным религиям Греции, Рима и Иудеи. В особенности это относится к представлениям о потустороннем мире, чуждым классическим традициям этих религий.

Представление о несправедливости этого земного мира очень рано породило надежду на воздаяние в загробной жизни. Во времена Христа такие представления широко распространились во всей империи, и сами евангелия свидетельствуют, что ими были проникнуты также евреи, хотя ни в греко-римской традиции, ни в Ветхом Завете о загробной жизни, по существу, не было ничего. Загробное вознаграждение праведников и наказание грешников стали к тому времени общим местом всех народных верований, и евангелисты передают эти представления в форме откровения: еврейский бог мстил своим слушникам в их земной жизни, не зная, по-видимому, ни о какой другой, но Христос угрожает грешникам геенной огненной уже на том свете, и его слушатели боятся этих угроз. Воображение людей порождает ад и рай и не освободится от этих призраков в течение двух тысяч лет. Ад гораздо более реален, не только у Данте, но и во всех богословских разработках доктрины возмездия; рай бледен, и чем дальше от Христа, тем бледнее.

Наряду с загробным воздаянием, люди мечтали о земном. Потребность в материальных благах была слишком насущной, чтобы ее можно было удовлетворить после смерти. Христос проповедует голодным, а голодные не могут долго ждать. И Христос обещает им свое Второе Пришествие очень скоро: в Царство Бога войдут не отдаленные потомки, а праведники, стоящие перед

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) ним. В евангелии от Марка Иисус обещает:

« – Верно вам говорю: есть среди тех, кто стоит здесь, люди, которые не успеют узнать смерти, как увидят, что Царство Бога явилось в полной силе» (гл. 9).

Первые христиане были не столько заняты делами этого мира, сколько ожиданием будущего. Поскольку Второе Пришествие задерживалось, христиане возложили свои надежды на Тысячелетнее Царство – земной вариант царства справедливости, который, по-видимому, немало затруднял богословов, пытавшихся соединить его с загробным. Восточная легенда о тысячелетнем царстве пришла, может быть, из Персии, где она была известна задолго до Христа. По ее христианской версии, описанной в откровении Иоанна, праведники будут жить в этом царстве тысячу лет, а править им будет сам Христос; затем они, по-видимому, проследуют в рай. Тысячелетнее Царство, несомненно, создано народной фантазией; как представляли его ранние христиане, изображает Папий, епископ Иерапольский, живший в конце второго века в Малой Азии. Следующий отрывок из его сочинения сохранил для нас святой Иреней:

«Придут дни, и уродятся виноградники с десятью тысячами лоз в каждом, и на всякой лозе будет десять тысяч побегов, на каждом побеге – десять тысяч усиков, на всех них – по десять тысяч гроздей, по десять тысяч виноградин каждая, и каждая даст двадцать пять мер вина.

И когда кто-либо из святых сорвет гроздь, другая закричит: “Я лучше ее, сорви меня и возблагодари мною Господа”».

Точно так же каждое зерно родит десять тысяч колосьев, всякий колос – десять тысяч зерен, а все зерна дадут по пять двойных фунтов муки. И прочие фрукты, семена, травы будут множиться в соответствии с их пользой.

И все животные, которые кормятся исключительно пищей от плодов земли, будут жить в мире и согласии между собой и будут целиком послушны и покорны человеку».

Таково свидетельство Папия, ученика Иоанна, сотоварища Поликарпа, древнего мужа, в четвертой из его пяти книг. И он добавляет к сказанному: Все это кажется вполне правдоподобным тому, кто верует». А поскольку Иуда – предатель и не верил и спрашивал, как это подобное плодородие возможно на деле, Господь отвечал: “Увидят это те, кто войдут в Царство”». (Иреней, Против ересей).

Таковы источники социализма, хорошо известные всем историкам и давшие начало всем бесчисленным ересям, вплоть до последней ереси христианства – марксизма. Один из друзей молодого Маркса, поэт Генрих Гейне, безошибочно изображает идеал социализма, рождавшийся у него на глазах, и трудно не узнать в нем то же Тысячелетнее Царство:

«О друзья, я спою вам новую, лучшую песню! Мы хотим устроить Царство Небесное уже здесь, на земле. Мы хотим быть счастливы на земле и не хотим больше терпеть нужду; пусть ленивое брюхо не поглощает то, что производят прилежные руки. Повсюду растет довольно хлеба для всех детей человеческих. Есть розы и мирты, красота и радость, и вдоволь сладкого горошка. Да, сладкого горошка для всех, как только созреют стручки! А небо мы оставим ангелам и воробьям».

И дальше, по свойственной ему непочтительности к авторитету, поэт прибавляет:

«А если после смерти у нас вырастут крылья, то мы посетим вас там, наверху, и отведаем с вами блаженнейших тортов и пирожных. Новая песня, лучшая песня! Она звучит музыкой флейт и скрипок! Позади “Господи, помилуй”, и молчит погребальный звон. Юная Европа обручена с прекрасным гением свободы. Они обнялись и вкушают свой первый поцелуй. И если нет у них поповского благословения, брак их будет не менее законным – да здравствуют жених, невеста и их будущие дети!»

«Германия, зимняя сказка» написана в 1844 году, на самой заре социализма; слово «социалист» впервые появилось в печати в 1827 году, а слово «социализм» – в 1843, ровно за год. Перед нами свидетельство о рождении, выданное очевидцем.

Но вернемся к рождению христианства. Евангелия и сочинения ранних христиан представляли собой фольклор, записанный малообразованными людьми – это было духовное движение, шедшее снизу, из угнетенных, отчаявшихся масс. Но навстречу ему шло, против собственной воли и повинувшись внутренней логике своего мышления, движение сверху, из самых просвещенных общественных групп.

Политеизм, мало дававший уму и сердцу простых людей, изжил себя и в психической жизни образованных – и случилось это очень давно. Уже изображенный Платоном Сократ говорил о Боге в единственном числе и твердо верил в загробную жизнь; он ссылался при этом на верования элевсинских мистерий, как на нечто само собой разумеющееся – в Афинах за четыреста лет до Христа[27]. Такие же понятия были у стоиков, разделявших также многие

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
этические принципы христиан: признания основного равноправия всех людей, обязанностей по отношению к «ближним» и внутреннего морального чувства, оправдывающего или осуждающего человеческие поступки. Стоическая философия господствовала в греко-римском мире еще до первого века и, во всяком случае, сохранила преобладание до конца второго. Почти все образованные люди того времени были стоики, и государственные деятели в том числе. Эпиктет был рабом, но Сенека был вельможей, а Марк Аврелий – редкий случай в истории – был император-философ. Ни один из них не был христианином. Император Марк не видел в христианах родственников ему мыслителей и позволял их преследовать, когда их обвиняли в нарушении законов, а Плиний младший, тоже стоик, еще раньше сомневался, что делать с этим новым суеверием. Вряд ли стоики подозревали, как близко они подошли к христианству, но христиане впоследствии прямо считали Сенеку «своим» – хотя он и не знал Христа. Своя своих не познала, как говорится на церковном языке.

После эпохи Антонинов философия повернула к неоплатонизму. Отцы церкви, давшие направление христианскому богословию, получили образование у платоников; Платон и определил облик богословия. Но это уже исследовал Рассел, и я хочу лишь заметить, что платонизм, с его идеей абстрактного божества, источника всех других идей, легко мог быть приспособлен к единому Богу христиан. Была и другая сторона дела: у Платона отцы церкви заимствовали его пристрастие к коллективизму, созвучному «соборности» христиан. Платону принадлежит пародия на социализм, возникшая гораздо раньше самого социализма. Это очень характерно для утопий, поскольку люди часто ставят себе преждевременные цели и придумывают для них нелепые средства; когда цель оказывается ближе, эти средства производят комическое впечатление. Платон пытался устроить «здоровое общество» (a sane society, как сказал бы Фромм), и придумал для этого «казарменный коммунизм». Он заимствовал у спартанцев приписываемую им простоту нравов и послушание властям, но хотел поставить во главе своего государства философов под именем «стражей». Богословы-платоники усвоили эту идею, приспособив ее к потребностям церкви: «пастыри» вполне могли заменить платоновых «стражей». Этим пристрастием к Платону и объясняется тот удивительный факт, что монахи переписывали все мерзости Платонова «Государства». Они просто думали, что Платон был каким-то образом «свой».

\*\*\*

Частная собственность всегда была камнем преткновения для христианской церкви. Спор, который в наше время происходит между «капитализмом» и «социализмом», стар, как мир: мы начали его историю с христианства лишь потому, что социализм в современном смысле слова коренится в этой религии, но могли бы найти яркие доказательства его древности уже в первых письменных документах, которые оставили нам Шумер и Египет. Если «социализм» есть «пагубное заблуждение», как уверяет нас профессор Хайек, то заблуждаются не только обличаемые им политики и профессора; заблуждались с самого начала истории бесчисленные миллионы людей. Претензия исправить это заблуждение и спасти от него так давно впавшее в него человечество – это поистине великая самонадеянность, претензия на предприятие, достойное Будды или Христа.

Христианская церковь никогда не была так наивна. Церковь должна была считаться с частной собственностью, как с основным фактом общественной жизни, потому что церковная иерархия стала частью государственной власти, а власть принадлежала классу собственников; да и сама церковь превратилась в крупнейшего собственника. Но, с другой стороны, церковь не могла порвать со своим источником – первоначальным христианством, решительно осудившим частную собственность. Отказ от собственности был условием вступления в апостольскую общину, и все общины первых христиан имели общее имущество; это был уже не просто «социализм», а его наихудшая форма – «коммунизм». Церковникам пришлось сохранить в «отредактированных» ими евангелиях резкие обличения собственности, приписываемые Христу: они постарались смягчить их, но, очевидно, верующие знали их уже на память, и никак нельзя было их опустить. Более того, хотя церковь пришла к власти, стала религией императоров и господ, она не могла порвать со своей нищей и униженной «паствой»: иначе эта народная масса перешла бы на сторону сектантов и еретиков. Поэтому церковь никогда – вплоть до наших дней – не одобряла собственности и подчеркивала опасность стремления к богатству.

Надо было примирить крайности Нагорной проповеди с реальной жизнью, и церковь пошла по пути всех религий: сделала уступки человеческой слабости, сохранив для праведников высокий идеал. Праведники уже очень рано образовали общины, отрекшиеся от мира и занимавшиеся только делами спасения. Церковь упорядочила эти общины и превратила в монастыри. Отныне

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
верующие делились на две ступени: обыкновенных христиан и монахов. У монахов не было частной собственности, и они трудились вместе в общей работе, наподобие первых христиан. Католическая церковь, в конечном счете, подчинила даже монашеским ограничениям все духовенство: она опасалась, что священники, наряду с соблазнами плоти, привяжутся к собственности. Только церковь может иметь собственность («имущество бедных»), но отдельный священник должен быть неимущ. Такова доктрина католиков; но и другие христианские церкви к ней близки.

В средние века, когда религия была всемогуща и во всей Европе не было неверующих, установился феодальный строй, стоявший гораздо дальше от «расширенного порядка», чем достаточно развитый торгово-промышленный уклад Римской империи. Но именно в это время сложились те «моральные правила», на которых основано поведение современного человека, и без которых не может существовать капитализм. Незаменимость старых правил хорошо понимали консерваторы всех времен. О них заботился еще божественный Платон: «Если мы потеряем эти предания, – сокрушался он, – то где и у кого возьмем мы другие?»

Чему же учила религия в то время, когда она в самом деле владела мыслями и чувствами людей? Эрих Фромм напоминает об этом в своей книге «Бегство от свободы»: «Для понимания позиции индивида в средневековом обществе важны этические взгляды на экономическую деятельность, выраженные не только в учениях католической церкви, но и в светских законах». И дальше Фромм цитирует книгу историка Тони «Религия и развитие капитализма». В основе экономической позиции, – пишет Тони, – лежали два принципа:

«Экономические интересы подчинены подлинному делу жизни, каковым является спасение души; и экономическое поведение – всего лишь одна из сторон поведения человека, над которой, как и над другими ее сторонами, стоят связывающие ее моральные правила».

Затем Тони описывает, как в средние века смотрели на экономическую деятельность:

«Материальные блага необходимы; они имеют служебное значение, поскольку без них люди не могут существовать и помогать друг другу. <...> Но экономические мотивы подозрительны. Люди боятся их, поскольку они вызывают жадность, но они не настолько дурны, чтобы не вызывать одобрения. <...> В средневековой теории не было места для экономической деятельности, не связанной с моральной целью; если бы кто-нибудь предложил средневековому мыслителю основать науку об обществе на допущении, что стремление к экономической выгоде есть постоянная, измеримая сила, принимаемая, подобно другим силам природы, в качестве неизбежного и самоочевидного исходного факта, то подобная точка зрения показалась бы ему столь же неразумной и безнравственной, как социальная философия, основанная на неограниченном действии таких человеческих свойств, как драчливость и половой инстинкт. <...> Святой Антоний говорит, что богатство существует для человека, а не человек для богатства. <...> Поэтому на каждом шагу мы встречаем пределы, ограничения, предостережения, не позволяющие экономическим интересам вмешиваться в серьезные дела. <...> Человеку дозволено стремиться к такому благосостоянию, какое необходимо для жизни в его общественном положении. Стремиться к большему – это не предпримчивость, а жадность; жадность же – это смертный грех. Торговля законна: различные произведения разных стран свидетельствуют о том, что она была предусмотрена Провидением. Но это опасное занятие. Человек должен быть уверен, что делает это для общего блага, и что получаемая им прибыль – не более, чем плата за его труд. Частная собственность – необходимое учреждение, в этом падшем мире; люди больше работают и меньше ссорятся, если блага находятся в частном владении, чем если они принадлежат им совместно. Но это можно терпеть лишь как уступку человеческой слабости, но не приветствовать как нечто желательное само по себе. Идеал же, если только природа человека может до него возвыситься – это коммунизм. “Communis enim, – писал Грациан в своем «декрете», – usus omnium quae sunt in hoc mundo, omnibus hominibus esse debuit” [«ибо все в этом мире, общее для пользования всех, предназначено для всех людей» (лат.) Грациан – юрист XII века; «Декретом» называется его сочинение по каноническому праву.]. И в самом деле, владеть имуществом было по меньшей мере хлопотно. Оно должно было быть приобретено законным путем. Оно должно было иметь как можно больше владельцев. Оно должно было доставлять помощь бедным. Оно должно было, по возможности, быть в общем пользовании. Его собственники должны были быть готовы разделить его с нуждающимися, даже если те не находятся в бедственном состоянии». К этому Фромм добавляет:

«Хотя здесь выражаются лишь нормы, не дающие точной картины экономической жизни, они в некоторой степени передают подлинный дух средневекового общества».

В средневековой Европе почти не было рыночного хозяйства. За редкими исключениями, хозяйство было замкнутым: нужные Экономические интересы подчинены подлинному делу жизни, каковым является спасение души продукты и изделия производились в пределах одного имения или одного города и там же потреблялись. Ремесленники были объединены в цехи, имевшие исключительное право заниматься в данной местности некоторым видом труда. Цех устанавливал «справедливые» цены на изделия, обязывал своих членов сообщать, где и почему они покупают сырье, контролировал качество продукции, регулировал взаимные отношения и претензии. Надзор за всем производством осуществляла королевская власть, часто вводившая предельные цены. Крестьяне вели натуральное хозяйство, отбывали барщину или платили сеньору оброк; они почти не участвовали в денежном обращении. При этих условиях не было подвижности населения, и города не имели такого значения, как в древности и, тем более, теперь; Париж и Лондон насчитывали в Средние века 20–30 тысяч жителей. В Европе было очень мало грамотных людей, и почти все они принадлежали к духовенству. Быть грамотным означало знать латынь. Но древних авторов читали лишь отдельные монахи, если читали вообще, и такое занятие считалось неправовым. Это были поистине «темные века». Все, что рассказывают о «цветущей средневековой культуре», относится уже к исходу средневековья, к XIII–XV столетиям; а идеализация средних веков, даже в их позднем развитии, выражает лишь отчаяние нынешних мудрецов. Достаточно сказать, что к началу эпохи Возрождения египет перестали переписывать древние рукописи, а уцелевшие не умели хранить.

Любители средних веков – а это прежде всего враги демократии – особенно восхваляют бывший в то время «общественный мир». И в самом деле, до позднего средневековья все классы населения оставались в относительном равновесии, не нарушая в целом установившийся порядок. По принятой в то время теории, этот порядок должен был держаться до Страшного Суда. Духовным главой христианского мира считался папа римский, а светским – германский император, заимствовавший свой авторитет от императоров Рима. Общество было строго иерархическим: каждый человек должен был повиноваться своему сеньору. Сословное деление было столь жестким, что человек не мыслил себя вне своего общественного положения: каждый чувствовал себя столь же естественно крестьянином, ремесленником или дворянином, как если бы это были отдельные виды животных. Это был общественный порядок, где положение и обязанности каждого были не просто освящены религией и законом, но стали частью его психического склада. Историк Буркхардт полагал, что в средние века люди утратили свою индивидуальность, то есть не умели отделить себя от своей сословной среды, не ощущали себя чем-то отдельным от своей деревни, своего цеха или своего феодального ранга. Это мнение, может быть, преувеличено, но в нем есть немалая доля истины. По сравнению с античным миром это был глубокий регресс: мир как будто вернулся к сакральному порядку племенной жизни, где статус определял психику человека. Вернулся, но не совсем и не навсегда.

Ясно, что в этом статическом обществе с наследственным складом личности мог быть длительный классовый мир. Все проявления социального недовольства принимали религиозную форму: в средние века античный «социализм» продолжается «ересями». Как нетрудно понять, общим мотивом всех этих еретиков – катаров, багаудов, анабаптистов и бесчисленных других – было осуждение несправедливого мира и стремление вернуться к чистому первоначальному христианству. К концу средневековья крестьянские восстания говорят уже новым языком: они ставят под сомнение конкретный феодальный порядок. Английские крестьяне, восставшие под руководством Уота Тайлера, спрашивали: «Когда Адам пахал, а Ева прядла – кто был тогда дворянином?», а во время французской Жакерии крестьяне прямо настаивали на своем человеческом достоинстве. Они пели:

«Мы такие же люди, как они (дворяне),  
У нас такое же большое сердце,  
И мы так же можем страдать».

Мечты их возвращались в мифическое прошлое, когда предки их жили счастливо, «прежде чем пришли дворяне со своим королем франком».

## 6. Общее представление о «капитализме» и «социализме»

Уже в древности мы обнаруживаем зачатки того, что теперь называют

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«капитализмом» и «социализмом». На этом этапе нашего исследования, до систематического рассмотрения явлений XIX века, породивших эти понятия, было бы преждевременно их определять, но уже сейчас можно связать с ними некоторые общеизвестные представления.

Под «капитализмом» обычно понимают общественный строй, основанный на рыночном хозяйстве, с приспособленной к этому хозяйству формой государственной организации, – то, что профессор Хайек называет «расширенным порядком». Такой строй давно уже существует в некоторых странах, а в наше время господствует на большей части земли. Напротив, «социализм», как общественный строй, еще никогда и нигде не существовал: это лишь «идеология» или «программа» некоторого будущего строя – возможного или нет. Понятие «социализм» связывается обычно с «социальной справедливостью», то есть с таким устроением жизни, при котором люди не делились бы на «бедных» и «богатых» или, ко крайней мере, первые меньше зависели бы от вторых. В таком виде это лишь наивное описание «того, что должно быть» – описание цели.

Противники социализма, такие, как Хайек, предпочитают другое определение этого понятия, подставляя вместо цели средство, и притом негодное средство: государственный контроль над экономической жизнью, полностью игнорируя «социальную справедливость». Это доставляет им немалое преимущество в споре с защитниками социализма, поскольку системы с государственным контролем над экономикой действительно существовали в России и Китае и доказали свою неэффективность. Но строгое применение такого определения привело бы к очевидным нелепостям [Один советский математик, наивно приняв это определение на веру, обнаружил «социализм» у египетских фараонов и перуанских инков, управлявших хозяйством своих стран очень долго и, по-видимому, эффективно. Последнее обстоятельство противоречит намерениям более искушенных авторов, о которых я говорю.] , и его пришлось ограничить контекстом новейшей истории, введя тем самым, в неявном виде, ту же «социальную справедливость», которую хотели обойти. В самом деле, в XIX и XX веке государственное вмешательство в экономику впервые стало рассматриваться как средство решения «социального вопроса». Поучительный урок любителям «точных определений»! Попытки перенести такие определения из математических наук в общественные сразу же приводят к нелепостям: оказывается, что такое «определение» описывает вовсе не тот круг явлений, который первоначально имелся в виду. Тогда ограничивают применение «определения» хронологическими факторами, вводящими другие факторы, и умалчивают о таком ограничении. Я слишком высоко ценю интеллектуальные способности профессора Хайека, чтобы освободить его от обвинения в сознательной фальсификации понятий.

Политические системы, сложившиеся в России и в Китае, никоим образом не служили «социальной справедливости», ни в каком смысле этого выражения: они довели до предела все несправедливости феодального строя, который в этих странах не успел разложиться и оделся в новый идеологический костюм. Сталин в минуты откровенности сравнивал свое положение с властью царя, а Мао писал стихи о «благородных» императорах, основателях династий, к которым он себя причислял. Обличать «социализм» на материале таких систем – это вовсе не логическая ошибка, а намеренный прием политической демагогии. Мы будем держаться обычного представления, связывающего социализм с «социальной справедливостью», как ее понимали – и понимают сейчас – бедные и угнетенные всех стран.

## 7. Зачатки капитализма и социализма в античном мире

Условившись в этом предварительном понимании обоих выражений «капитализм» и «социализм», мы применим сначала эти понятия к античному миру и европейскому средневековью. Разумеется, нас не беспокоят при этом марксистские (или какие-нибудь другие) догмы, искусственно ограничивающие использование терминов или навязывающие деление истории на «формации»

В некоторых центрах античной цивилизации – в торговых городах Греции и Римской империи – мы находим уже значительное развитие рынка, но еще в крайне ограничивающих условиях, непохожих на нынешний «расширенный порядок». В античной цивилизации еще не выработалась – и не могла выработаться – юридическая система, применяющая установленные нормы безличным образом, независимо от тех, кто их применяет, и тех, к кому их

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) применяют; «закон» слишком зависел от обстоятельств, особенно от политической ситуации и от правящих лиц. «Международное право» находилось лишь в зачаточном состоянии, что затрудняло обмен, а подавляющая власть Рима не способствовала соблюдению «беспристрастных правил игры». Как мы видели, в больших городах Греции и Римской империи было уже достаточно «капитализма», чтобы породить наемный труд, зависимость бедных от богатых и идущий снизу «социальный протест». В таких центрах античного мира зародился уже «пролетариат». Но он был разделен барьером рабства, создававшим психологическое препятствие для взаимопонимания угнетенных, и племенными барьерами, часто непреодолимыми даже при наличии общепонятного языка. Поэтому древним «пролетариям» [Слово «пролетарий» – латинского происхождения, от *proles* – потомок, отпрыск, дитя; по юридической системе, введенной Сервием Туллеем (578–543 гг. до н. э.) *proletarii* были неимущие граждане, не способные приобрести оружие и потому освобождавшиеся от военной службы; они считались полезными государству лишь в качестве производителей потомства, отсюда и произошло их название.] никак невозможно было «соединиться» и создать какой-нибудь «интернационал». Время «рабочего движения» еще не пришло, и движение угнетенных, после множества безнадежных восстаний, приняло потустороннюю форму христианского хилиазма. Трудно представить себе, чтобы психология и социальный опыт древнего человека могли привести к другому результату, даже если бы Западная империя выдержала натиск германцев; Восточная империя простояла еще тысячу лет, но это был уже феодализм азиатского типа, мало касающийся предмета, о котором здесь идет речь.

Итак, в античном мире были только зачатки капитализма; а социализм был запечатлен в христианстве. Около 300 г. н. э. указы императора Диоклетиана окончательно закрепостили колоннов – крестьян, арендовавших землю у помещиков. Все сословия были сделаны замкнутыми: сын должен был заниматься ремеслом своего отца. Передвижение граждан было строго регламентировано. Набор солдат в армию стал принудительным, с раскладкой числа поставляемых рекрутов по имениям. К этому времени даже должности в городских муниципалитетах были закреплены за определенными людьми привилегированных классов, которые, тем самым, также были лишены личной свободы. Это и было начало феодализма, нередко восхваляемого в наши дни как естественный порядок человеческой жизни. Нашествие германцев лишь завершило переход к феодальному строю. К пятому веку Римская империя лежала в развалинах. Античная цивилизация сменилась «темными веками»: это был чудовищный упадок человеческого духа, длившийся больше тысячи лет. На таком низком уровне установился довольно устойчивый порядок, где каждый знал свое место и не представлял себя в какой-нибудь другой роли. «Капитализм» исчез вместе с рынком. Но «социализм» глубоко укоренился в христианском вероучении и сохранялся в этом виде как часть народной культуры. Из христианства никак нельзя было убрать следы его происхождения. Папа римский именуется себя «рабом рабов божьих», богатства церкви называются «достоянием бедных»; раз в год папа оmyвает ноги нескольких нищих, следуя примеру Христа. Реформация спасает европейский феодализм, но разбивает церковный авторитет. Верующий непосредственно обращается к Библии, переведенной на новые языки и напечатанной для всех. Но в Библии верующий находит неистребимо запечатленный в ней социализм! Не забудьте, что до Реформации чтение Писания было мирянам запрещено, а толкование разрешено лишь докторам богословия. Церковь знала, на какой бочке пороха она сидит.

\*\*\*

Протест угнетенных в древности (и в средние века), как мы видим, был безнадежен, потому что они не способны были соединиться и организовать. В этом вопросе Маркс и Энгельс были весьма проницательны, выдвинув знаменитый лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Они понимали также, что угнетенные – люди физического труда – собственными силами не могут организовать и тем более поставить себе отчетливые цели. Протест угнетенных, не направляемый развитым мышлением, принимает чисто разрушительный характер, а в политическом и военном смысле обречен на поражение. Понимая это, Маркс и Энгельс считали, что «сознание» должно быть внесено в рабочий класс «извне» – то есть выходцами из образованных классов и, тем самым, ренегатами буржуазии и аристократии. Но и до этой формулировки социалистическое движение уже складывалось из двух течений, шедших навстречу друг другу: «снизу» шел протест отчаявшихся рабочих, а «сверху» шла идеология интеллигентов, уверовавших в прогресс и стремившихся придать ему социальную направленность. Вся идеология социализма была делом таких «перебежчиков» из высших общественных слоев.

Ничего подобного не было ни в древности, ни в средние века. В античном

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

мире было высокоразвитое мышление, но в «гуманитарной» области оно было поразительно ограничено: трудно представить себе лучшее доказательство тезиса Маркса – «бытие определяет сознание». Конечно, многие греческие мыслители (и во всем следовавшие за ними римские) сознавали принципиальное единство человеческого рода. Цезарь, взятый в плен пиратами, был выкуплен, но мог бы и остаться в рабстве; был продан в рабство и сам Платон, когда «Государства», где Сократ рассказывает сказку о людях, сделанных из разного металла, достаточно доказывает, что Платон считал социальные группы попросту делом случая, но хотел поддержать сложившийся порядок хитростью и силой. Аристотель, усердный компилятор, не наделенный юмором и чуждый циничной откровенности своего учителя, передает нам два главных мотива, которыми оправдывалось в то время рабство (и, несомненно, униженное положение всех людей физического труда). Первый мотив – прагматический – состоял в том, что тяжелая изнурительная физическая работа, необходимая для существования государства, не могла быть возложена на его полноправных граждан, делом которых были защита государства и решение политических вопросов. Иначе говоря, свободные граждане желали сохранить для себя только занятия, считавшиеся почетными, и оградить себя от «низких» занятий. Нетрудно понять, что деление людей общества на людей физического труда и людей, презиравших физический труд (деление, еще чуждое архаической крестьянской Греции), возникло вследствие распространения рабства: презрение к рабу перешло на всех, кто занимался «рабским» трудом. Все образованные люди были из класса господ, никогда не трудившихся руками. Это жесткое деление сохранилось и в средние века. Вторым мотивом, приводимым Аристотелем – это общепринятая в то время фикция, считавшая рабов хотя и людьми, но низшего морального и интеллектуального достоинства, предназначенных самой природой служить другим.

Первое из этих оправданий слишком корыстно, а второе слишком лицемерно, чтобы ими мог довольствоваться серьезный мыслитель. Многие мыслители древности были достаточно искренни, чтобы это признать, но признание их носит чисто интеллектуальный характер: мы не находим в древности эмоционального возмущения против социальной несправедливости и страдания низших классов. Если «прагматический» аргумент можно объяснить отвращением к «рабскому» труду, то бесчувственность древних, как мне кажется, есть отдельный психологический факт античной цивилизации, вообще низко ценившей человеческую жизнь. Более глубокую человечность внесла в этот мир проповедь Христа.

Во всяком случае, отдельные гуманные высказывания философов-стоиков, и даже отдельные гуманные меры императоров эпохи Антонинов не могли разбить этого ледяного равнодушия «высших» к страданиям «низших»; и уж совсем нелезья себе представить, чтобы какой-нибудь ренегат высшего класса присоединился к восстанию рабов, или пытался просветить и организовать этих несчастных. Восставшие всегда сталкивались с хорошо отработанной военной и политической системой своих господ, для которых война и политика всегда были главным делом. Спартак был всего лишь гладиатор, его не учили командовать армией, и не видно, чтобы рядом с ним был кто-нибудь из «просвещенных» людей.

«Просвещенные» дали христианской церкви ее организацию и ее теологию, но лишь при условии, что церковь не посягала на сложившийся жизненный уклад. Все это можно резюмировать современным выражением: в античном мире не было интеллигентов. Движение народных масс не могло соединиться с развитым мышлением, и потому было обречено на поражение. Впрочем, если бы даже «просвещенные» люди того времени и обладали чувствительностью Нового времени, им чужда была всякая идея прогресса – изменения общества сознательными усилиями людей. Древние были пессимисты в общественных делах – стояли на коленях перед «историей». Кажется, тот фатум, который они ставили выше богов, и был олицетворением их глубокого неверия в человека.

## 8. Средние века и начало Нового времени

Можно спросить себя, почему нас так поражает темная пропасть средних веков? Конечно, потому, что ей предшествовали высокие достижения культуры. В маленьком городе Помпеи было больше грамотных людей, чем во всей Европе через тысячу лет. Тут есть над чем задуматься, если мы не хотим, чтобы нашу



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
культуру постигла та же судьба.

Среди нас есть мудрецы, восхваляющие средние века. Конечно, эти люди не захотели бы прожить и один день в средневековом доме, повиноваться средневековым властям или доверить свое тело средневековому врачу. Эти господа хотели бы соединить устойчивость жизни с личным комфортом. Но оставим их в стороне.

Во всяком случае, средневековый порядок был устойчив: человек знал там свое место, не умел желать ничего другого и в промежутках между войнами и эпидемиями мог удовлетворять свои простые потребности – есть, спать и производить потомство. Это было общество, где не надо было задумываться о жизни, и, кажется, именно этим оно нравится тем, кто его хотел бы вернуть. Население Европы сильно уменьшилось, леса и болота разделяли редкие деревни и феодальные замки. Римские дороги заросли, путешествовать было опасно, да и незачем. Почти все потребности удовлетворялись в своей деревне. Исчезла проблема больших городов: в Риме и Париже было по 20 тысяч жителей.

Крестьяне повиновались своему сеньору, ремесленники – своему цеху: каждый знал, кто он такой. В раннем средневековье главной чертой хозяйственной жизни была редкость населения. Земли было много, в случае необходимости корчевали под пашню лес; господа жили примитивной жизнью, имея мало потребностей, и почти все повинности были натуральными. Деньги были редки: «рынок» сводился к тому, что крестьянин изредка покупал железные орудия, а сеньор – оружие или какой-нибудь наряд.

Около тысячного года население Европы стало расти. Когда уже некуда было переселяться, нашелся выход для избытка населения – крестовые походы. Жизнь стала сложнее. Стоимость походов оплачивали вассалы, а потребности сеньоров возросли. По-видимому, Великая Чума 1348 года, унесшая больше трети населения Европы, на время сняла проблему перенаселения; когда не было свободной земли, крестьяне бежали в города. Городская культура Нового времени началась в Северной Италии и во Фландрии, где развились промышленность и торговля. В растущих городах обострялся социальный конфликт, «тощие» восставали против «жирных».

Но в общем, рост экономики был медленным. Все делалось ручным трудом, требовавшим особых навыков, даже мастерства. Цеховые ремесленники продолжали жить примерно так же, как их предки. Во многих пригородных местностях ремесло соединялось с сельским хозяйством. Образ жизни средневекового ремесленника, как бы ни была скромна эта жизнь, при капитализме стал восприниматься как идиллия. Катастрофой, уничтожившей средневековый способ производства и положившей начало Новой истории, было изобретение машин. «Мануфактура» (что означает «ручное изготовление») превратилась в фабрику, а ремесленники – в промышленный пролетариат. Впервые это произошло во второй половине XVIII века в Англии, где и были изобретены важнейшие машины: паровая машина, прядильные и ткацкие станки, станки для обработки металла и, наконец, паровоз.

Явление машины было величайшим историческим переворотом, сравнимым с изобретением первых орудий в доисторические времена. Когда-то простейшие орудия сделали человека «царем природы», дали ему безопасность от хищников и лучшую пищу: антропологи пытались даже определить человека, в отличие от животных, его способностью к изобретению орудий. Неудивительно, что вторжение машин, быстро изменявших облик человеческого общества, породило «исторический материализм», считавший «развитие производительных сил» главным двигателем истории. Все прежние построения философов, пытавшихся объяснить историю, останавливались в недоумении перед машиной. Каким образом можно было ввести машину в гегелевскую схему развития «абсолютного духа», в индийский пессимизм Шопенгауэра или в «богочеловеческую» ересь Бердяева? Перед лицом машины вся старая онтология стала смешной, потому что в мир вошло нечто новое, а философы не знали ничего, кроме своих старых книг. Неудивительно, почему «экономическое» объяснение истории, предложенное Марксом, произвело столь глубокое действие на человеческое мышление. Маркс – о котором дальше пойдет речь – считал себя не философом, а ученым.

В течение всей истории люди придумывали орудия, приспособления и технические процедуры. Они действовали при этом эмпирически, совершенствуя свои приемы в течение ряда поколений, причем первооткрыватели не были известны, или таковыми считались мифические герои и полубоги. Мы никогда не узнаем, кто «изобрел» использование огня (конечно, это было еще существо, которое мы не называли бы человеком), или кто изобрел колесо (так и не использованное индейцами в Америке).

Поразительно, что великие изобретения могли оставаться без употребления целые столетия, даже если они были очень нужны. Причина этого скорее всего в том, что они носили изолированный характер и делались случайно. Практическое применение изобретения требует обычно, чтобы до него было

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) сделано уже много других, чтобы был «сплошной фронт» технической деятельности. Китайцы первые изобрели порох, но не сумели (или не догадались?) применить его в военных целях, а использовали для фейерверков. Может быть, они не умели отливать пушки; а может быть, военное дело и фейерверки поручались разным министерствам. Китайцы изобрели также книгопечатание деревянными клише, а корейцы печатали книги металлическими буквами за пятьдесят лет до Гутенберга; но, вероятно, на Дальнем Востоке уже не было тогда особенного спроса на книги. На китайских кораблях компас использовали раньше, чем в Европе, но у китайцев вряд ли была большая надобность в мореплавании.

До нас дошли преувеличенные рассказы о военных машинах Архимеда, но, несомненно, он изобрел насос – «архимедов винт». Мы не знаем, почему он не получил применения. Римляне разгромили Сиракузы, убили Архимеда, и неизвестно, куда делись его ученики. Может быть, в древности один Архимед систематически выдумывал новые машины. Герон Александрийский придумал игрушечную паровую турбину, которая и в самом деле служила салонной игрушкой. Вероятно, изготовить настоящую турбину тогда нельзя было, так как не было обрабатывающих станков.

Часто говорят, что в античном мире не было экономической потребности в машинах, потому что был дешевый рабский труд. Вряд ли это объясняет техническую инертность греков и римлян. Они не умели даже правильно делать конскую упряжь: надевали упряжь на шею, она душила лошадь и мешала ей везти груз. Хорошую упряжь изобрели только в средние века. Хороший плуг придумали галлы. Даже мечи и дротики римляне заимствовали – у галлов и испанцев: эти удивительные организаторы войны не занимались военной техникой [28]! По-видимому, сама идея, что можно сознательно улучшить какой-нибудь способ производства или образ действий, была чужда мышлению древних. Они держались своих традиций, иногда перенимая чужие. Зная удивительные достижения греков в науке и искусстве, римлян – в государственной организации, мы склонны приписывать им и другие спопридумать пушку или пулемет, раз уж он почти открыл интегральное исчисление? Что бы тогда делали римляне, умевшие только дрессировать своих солдат, как лошадей?

Горестную беспомощность этой культуры лучше всего передал неизвестный автор эпиграммы на взятие Карфагена:

Худшие люди над лучшими здесь одержали победу.

Насколько я знаю, первым изобретением Нового времени, сделанным с заранее поставленной целью, были часы – грубые механические часы башенного типа, с гирей и устройством, заменявшим маятник. В XIV веке, когда появились эти часы, еще не было экономических причин знать точное время: достаточно было следить за горением размеченных свеч или переворачивать сосуды с песком. Но в одной профессии надо было знать время безошибочно, чтобы не впасть во грех: монахи должны были читать молитвы пять раз в сутки, в точно определенные часы. Изобретатель был, скорее всего, тоже монах.

В середине XVIII века в технике произошел резкий скачок. В Англии был уже достаточно емкий рынок, и в промышленности широко использовался ручной труд. Надо было увеличить производительность труда и удешевить его: техника имела теперь сознательные цели, и впервые в истории изобретения пошли одно за другим. Теперь это называют «промышленной революцией».

Конечно, на этот технический переворот повлияло возникновение науки: до него были Кеплер, Галилей, Ньютон, Гук. Но связь с наукой была еще не столь непосредственной, как впоследствии; изобретатели были практики, инженеры и просто умные люди: паровую машину изобрел механик, прядильную машину – цирюльник, ткацкий станок – сельский священник. На заре техники изобретателям не нужно было научного образования; но научный подход к природе создал атмосферу поиска новых решений. Недаром еще раньше Ньютону поручили заведовать чеканкой монет, с чем он справился выше всяких похвал!

Мы живем среди машин, не можем без них обойтись, и нам уже трудно представить себе, чем был мир без машин. Для будущего человечества машина была величайшим благодеянием, отупляющий труд, в котором человек использует свои мускулы наподобие рабочего скота. В Китае, где не было тяглого скота, люди пахали собственной силой, поставляя для удобрения собственный навоз. Хорошо еще, что «приобретенные признаки» не передаются по наследству: иначе во что бы выродился наш род! Крестьянский труд удостаивали всяческих похвал философы и моралисты, последний из которых был, кажется, Лев Толстой: этот, по крайней мере, искренне не любил думать. А что сказать о труде шахтера, вырубавшего уголь вручную и выносившего его на себе? Машина возвращает простому человеку его время, обещая ему лучшую судьбу. Более того: теперь мы знаем, что машины могут дать нам безграничную энергию, заменить нас во всех видах труда, где не надо быть человеком, и

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
избавить нас и наших ближних от борьбы за существование.

Все это машины могут дать в будущем. Многие они дают нам уже сейчас. Но при первом своем явлении – машины принесли нищету и смерть. Потому что с ними явился капитализм.

## 9. Начало капитализма

Машины пришли в Англию, где все законы и правила были составлены джентльменами в интересах джентльменов. С юридической стороны это значит, что в Англии был сословный строй, основанный преимущественно на земельной собственности; но старая феодальная знать уже в XVII веке разделила свои привилегии с буржуазией, принимая в дворянское сословие самых богатых буржуа. Некоторые старые преимущества, главным образом связанные с престижем, знать еще сохранила за собой, но все существенное в жизни человека зависело от денег. Англия была первой страной в мире, где деньги стали полностью определять положение человека. Человек без денег, который не мог указать источника своего существования, подлежал уголовному наказанию как бродяга, по средневековому закону, оставшемуся в силе. Человек, не имевший определенного общественного положения, мог быть схвачен на улице и насильно зачислен в военный флот, без каких-либо юридических оснований. Этот обычай назывался «прессинг»: таким образом, английский флот был укомплектован «свободными гражданами», насильно обращенными в рабство [Ср. знаменитый гимн: «Правь, Британия, правь морями, / Британцы никогда не будут рабами». Ср. также знаменитый роман У. Годвина «Калед Уильямс»]. Англия, считавшаяся самой свободной страной в мире, уважала лишь собственника, но не гражданина.

Вторжение машин привело к тому, что миллионы рабочих, прежде зарабатывавших себе на жизнь ручным трудом в домашних условиях или в небольших мастерских, должны были искать себе место на выросших повсюду фабриках. Но машины не нуждались в таком числе людей, и сразу же образовалась масса безработных, лишенных средств к существованию. Это был «классический», или, как его называет Поппер, «неограниченный» [“Unrestricted”, в смысле «ничем не сдерживаемый».] капитализм; сейчас я объясню, что это значит.

Это значит, что фабрикант мог нанимать всех желающих работать или отказывать им в работе по своей воле; а рабочие могли наниматься к нему на работу или отказываться от этого, также по своей воле. Фабрикант предлагал им плату, обычную в данной местности в данное время; если он не был монополистом, он не мог предложить намного меньше других, а не желая разориться, не мог предложить и больше, потому что в таком случае изделия обходились бы ему дороже, чем другим фабрикантам, и он не мог бы продать их по рыночной цене. Как видите, цена за работу складывалась по закону спроса и предложения и, по-видимому, никто не вправе был жаловаться, поскольку каждый свободно заключал трудовой договор.

Доктрина, одобряющая неограниченную свободу экономической деятельности, и в том числе только что описанную свободу нанимать на работу, называется либерализмом, от латинского слова *liber*, означающего «свободный». Это и есть та доктрина, которую проповедуют профессор Хайек и его друзья. Они напоминают при этом, что это «классическое» значение слова «либерализм» не следует смешивать с современным значением, придаваемым ему в Соединенных Штатах, где либералами называют почти стопроцентных социалистов. Не будем придирааться к словам и посмотрим, что представлял собой «либерализм» начала XIX века.

В Англии в то время и в самом деле не было никаких или почти никаких ограничений наемного труда. Как вы знаете, в средние века было очень много всевозможных ограничений, которыми феодальная система связывала промышленность и торговлю. Цены изделий и уровень заработной платы устанавливались цехами, но не произвольно, а под контролем королевской власти. Считалось, что эта власть заботится о благополучии всех подданных, хотя, разумеется, она заботилась об интересах феодальной знати и прежде всего самого короля. Так вот, средневековые ограничения экономики и были предметом ожесточенной гражданской войны в XVII веке. Конечно, речь шла и о других вещах: о налогах, таможенных пошлинах, свободе от государственных монополий и от произвола должностных лиц. Это была важная политическая борьба, в которой буржуазия в конечном счете навязала свою волю: был

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
заключен исторический компромисс 1688 года, названный «Славной Революцией».

Победа буржуазии над феодальной системой была великим историческим событием. Но «свобода», которой она добилась в 1688 году, лишь в малой степени была свободой для всех. Она была необходимым этапом в борьбе за свободу для всех, но в то время – и надолго – дала эту свободу лишь буржуазии. Вы узнаете здесь общую черту европейской истории, и особенно английской истории: когда в 1215 году бароны навязали королю Джону «Великую Хартию Вольностей», они получили эти «вольности» для самих себя, но в исторической перспективе они проложили путь к более свободному обществу, впервые установив парламентский строй. Итак, буржуазия имела право гордиться свободой, которую она завоевала для себя. Посмотрим теперь, чем обернулась эта свобода для английских рабочих.

Так как в Англии оказалось множество лишних рабочих рук, скоро образовалась армия безработных – постоянный резерв рабочей силы. Первые машины были сравнительно просты, и обслуживание их не требовало особой квалификации; поэтому каждого рабочего легко было заменить. Очень часто при поиске работы он сталкивался с монополией, поскольку ему нелегко было покинуть место жительства, где у него могла быть какая-то крыша над головой, родственные связи и т. д. В этом случае, сплошь и рядом, он мог получить работу только на одной фабрике. Но если даже он перебрался в большой город, где ему приходилось оплачивать жилье, все равно конкуренция между фабрикантами устанавливала самую низкую плату, на которую только можно было прожить, и самый длинный рабочий день; в большие города стекалось особенно много безработных, и фабриканты могли выбросить за ворота любого, кто был чем-то недоволен.

Такое положение возникло впервые в истории. В древности было рабство, и если рабы были дешевы, их можно было эксплуатировать до полного истощения и смерти, что и делалось в ряде отраслей хозяйства – например, в рудниках. Но рабов заставляли работать силой, под бичом надсмотрщика. Здесь же не было насилия (если не считать законов о бродягах и «прессинга!»). Рабочий сам выбирал себе хозяина, а затем попадал в такую же зависимость от него, как раб, потому что быть уволенным означало угрозу голодной смерти для него и его семьи. Смерть от истощения была тогда обычным явлением в Англии, и нередко коронер вынужден был признавать это, хотя в большинстве случаев находились врачи, доставлявшие какой-нибудь более приличный диагноз. Такого положения не было в средние века, когда в существовании крестьянина был заинтересован его сеньор, о ремесленнике заботился его цех, а в немногих мануфактурах не было такого излишка рабочей силы. Так как, сверх того, не было еще скученности в больших городах (исключая, может быть, Лондон), то можно понять ностальгию народа по доброму старому времени, породившую выражение *merry old England* [Веселая старая Англия.].

Таковы были – для рабочих – результаты прославленной английской свободы, первоначально охранявшей интересы буржуазии от феодальной монархии. Замечательно, каким образом политический принцип, сам по себе «прогрессивный» и внушавший уважение всем сторонникам свободного общества, превратился в орудие бесстыдной эксплуатации голодных и беспомощных людей. Я понимаю, что эти последние слова выражают скорее эмоцию, чем результат точного мышления: надо еще определить, что такое эксплуатация, и доказать, что в начале XIX века в Англии в самом деле была эксплуатация рабочих в смысле данного определения. Но сложившееся тогда положение вызывало возмущение у более чувствительной части английского общества. Возмущались им не социалисты, которых еще не было, а образованные люди: священники, врачи, писатели, и вообще люди высших классов, не заинтересованные в порабощении бедных. В этом смысле общественное настроение отличалось от того, какое было в Римской империи, так что за две тысячи лет все же был достигнут некоторый нравственный прогресс: люди физического труда не рассматривались уже как существа другой породы, страдания которых можно не принимать в расчет. Впрочем, в XIX веке возникли даже общества защиты животных! И, в отличие от древности, мы очень хорошо знаем XIX век: до нас дошли подробнейшие материалы о нем – газеты и журналы, отчеты о парламентских расследованиях, архивные документы, наконец, произведения писателей, как раз в то время проявивших интерес к жизни простых людей. Каждый может составить себе представление об этой эпохе, не полагаясь на скудные находки историков, не зная греческого и латыни. Весь XIX век сохраняется в наших библиотеках. Вот, например, замечательная книга Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», написанная в том же 1844 году, что и приведенные выше стихи Гейне. Конечно, Энгельс был уже социалист и даже, очевидным образом, марксист (хотя в то время не было еще такого слова). Его книга основана не только на личных наблюдениях автора (управлявшего фабрикой в Манчестере), но и на бесчисленных документах – отчетах «королевских комиссий», заключениях врачей, статьях английских

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) газет, даже столь консервативных, как «Таймс». Из этой книги видно, что первые социалисты – вышедшие из высших общественных классов – были искренне возмущены безразличием к страданиям трудящихся, полны сочувствия к угнетенным и беззащитным. Даже убежденный противник социализма Поппер признает и уважает эти мотивы у Маркса. Если вы предпочитаете изучить «рабочий вопрос» без помощи социалистов и если у вас нет времени разыскивать старые отчеты и документы в работах историков, – читайте Диккенса. Он проведет вас по всем кругам ада английской нищеты; и не забудьте заглянуть вместе с ним в «рабочие дома», где бедных людей держали на положении преступников, потому что бедность по существу и рассматривалась как преступление. Наконец, есть очень ясное изображение этой эпохи в иллюстрированных книжках [несколько позже, когда положение рабочих еще мало изменилось, была изобретена фотография.].

Рабочий день продолжался не менее 12 часов, и до 16, с очень коротким, точно отмеренным перерывом на «обед». «Обед» состоял из скудной холодной еды, принесенной из дома, чаще всего из хлеба. Если требовали «интересы производства», заставляли работать двое суток подряд и больше. Девочек-подростков такая работа доводила до чахотки, анемии; случалось, прямо из цеха выносили трупы. Ужаснее всего было мучение детей. Поскольку машины сводили фабричную работу к выполнению простых однообразных операций, на фабрики отдавали детей 5 – 6 лет, которые тоже работали от 12 до 16 часов в день. Можно понять отчаяние родителей, пытавшихся как-то увеличить свой заработок; трудно понять, как вообще маленького ребенка можно было заставить все это терпеть. По нашим представлениям, малыши должны были просто плакать и проситься к маме, но ведь «бытие определяет сознание», даже когда этому созн

Фабриканты дожимали рабочих системой штрафов за любые «нарушения дисциплины», действительные или мнимые, высасывая у них заработанные ими гроши. Они экономили на всем: на ремонте и уборке помещений, на освещении, на проветривании. В отличие от рабовладельцев, они не были заинтересованы в сохранении рабочей силы своих невольников: их не надо было покупать и всегда можно было заменить. Рабочие кварталы городов представляли собой невообразимую картину нищеты и грязи, скученность превосходила все, что мы слышали о лагерных бараках, и очень скоро тиф и холера, гнездившиеся в этих трущобах, начали мстить буржуазии, напоминая самым очевидным образом о единстве человеческой породы. Впрочем, поначалу этого просто не знали: только в XIX веке, и даже не в самом начале его, были поняты пути возникновения эпидемий. С точки зрения зполучится, если переложить это дело на обитателей трущоб.

Бедные ели, конечно, самую дешевую пищу, какую могли найти. Сплошь и рядом торговцы сбывали им гнилые овощи, тухлое мясо и, конечно, черствый и заплесневелый хлеб. Все это были отбросы со стола буржуазной Англии, которые невозможно было предложить тем, кто лучше платил. Санитарная инспекция только начиналась, вызывая негодование либеральных лавочников; и в самом деле, это тоже было вмешательством государства в экономическую жизнь. Рабочие, и тем более безработные, одевались в отрепья; их жены пытались ставить заплатки на эти рубища, или, отчаявшись, уже не пытались. Ирландские иммигранты, бежавшие в Англию от голодной смерти, ввели невиданный у англичан обычай ходить босиком, и английские рабочие начали перенимать этот образец.

Имевшим глаза и уши ясно было, что «веселой старой Англии» пришел конец. Надо отдать должное английской литературе, описавшей этот «неограниченный капитализм». Трудно сказать, кто создал легенду о единственной в своем роде русской литературе, заботившейся об униженных и угнетенных. Возьмите самых значительных, самых одаренных английских писателей; перечитайте их и посмотрите, как изображают английское общество Байрон и Шелли, Диккенс и Теккереи. Конечно, в Англии не было цензуры, и можно было писать откровенно. И нередко английские писатели выражали свои чувства яснее, чем их русские собратья с цензурным кляпом во рту. Вот знаменитое стихотворение Шелли, лучше всего объясняющее, в каких условиях рождался социализм. Я перевожу его буквальной прозой, не передающей всей страсти этих гениальных строк:

Люди Англии, наследники славы,  
Герои неписаной истории,  
Питомцы одной могучей матери,  
Ее надежда, и надежда друг друга,  
Восстаньте, как львы после сна,  
В непобедимом числе,  
Стряхните с себя свои цепи,  
Как росу, выпавшую на вас во время сна.  
Что такое свобода, скажут вам те,

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

Кому слишком хорошо и в рабстве,  
Потому что самое имя рабства  
Стало эхом вашего имени.  
Это значит работать и получать такую плату,  
Которая едва поддерживает жизнь изо дня в день  
В вашем теле, где она, как в клетке,  
Содержится для пользы тиранов.  
Так что вы созданы для них,  
Чтобы ткать, пахать, сражаться и копать землю;  
По вашей воле или без нее вы обязаны служить  
Для их защиты и пропитания.  
Это значит видеть, как ваши слабые дети  
С их матерями изнемогают и гибнут,  
Когда свирепствуют зимние ветры –  
Они умирают, когда я это говорю.  
Это значит голодать, не имея и той пищи,  
Которую богач в своей заносчивости  
Швыряет жирным собакам, лежащим  
Объевшись, у его ног.

.....  
Это значит быть рабом в душе,  
И не иметь настоящей власти  
Над своей собственной волей, а быть  
Всем, что другие делают из вас.  
А когда, наконец, вы жалуетесь,  
Со слабым и напрасным ропотом,  
Это значит увидеть, как наемники тирана  
Топчут лошадьми ваших жен и вас:  
Кровь, как роса, покрывает траву.  
Это значит жаждать отмщения,  
Яростно стремясь воздать им  
Кровью за кровь – и злом за зло:  
ЗАЧЕМ ЭТО, ЕСЛИ ВЫ СИЛЬНЕЕ? [Здесь и ниже прописные буквы использованы  
самим Шелли.]

.....  
Восстаньте, как львы после сна  
В непобедимом числе!  
Стряхните с себя все цепи, как росу,  
Упавшую на вас во сне:  
ВАС МНОГО – А ИХ МАЛО [29].  
Это было опубликовано в 1832 году, когда Карлу Марксу было 14 лет. Идеи  
классовой борьбы носились в воздухе и, как мы видели, для этого было  
достаточно причин. Теперь нам хотят навязать в России тот же  
«неограниченный капитализм». Можно с уверенностью предвидеть, что его  
жертвы поймут свое положение, и найдутся люди, способные об этом сказать.  
Будем надеяться, что негодование обманутых найдет более конструктивные  
пути, чем месть, и в условиях будущей демократии люди не будут прибегать к  
насилию. Напомним, что Шелли написал приведенные выше строки, когда  
английский парламент выбирали только богатые, а бедных, пытавшихся устроить  
демонстрацию, в самом деле давили лошадьми.

## 10. Что такое «эксплуатация»?

Социальные явления, сопровождавшие ранний капитализм, вызвали чувство негодования не только «снизу», со стороны рабочих, но и «сверху», со стороны самых образованных и одаренных людей того времени. Как мы видели, предыдущая культурная революция, уничтожившая античный мир, проходила совсем иначе: высшие классы остались холодны к страданиям низших, а греко-римская «интеллигенция» лишь доставила руководство христианской церкви. Поэтому я и ставлю в кавычки ключевое русское слово, объясняющее то, чего не было тогда и что было теперь. Навстречу протесту угнетенных вышел теперь протест интеллигенции, и от их соединения родился социализм.

Но, конечно, от первых социалистов, и тем более от шедших за ними рабочих, нельзя было требовать ясного понимания мотивов их негодования. Они просто считали, что с людьми физического труда обращаются несправедливо; а

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
это ставит социальный вопрос на зыбкую почву «этики», где каждая общественная группа или даже отдельные представители этих групп высказывают всевозможные, часто противоположные мнения, и где трудно что-нибудь доказать. Мы не будем заниматься здесь общим вопросом, что такое «справедливость», а ограничимся частным его аспектом, выдвинутым ходом истории в XIX веке: нарушением «справедливой оплаты труда», обозначаемым словом «эксплуатация».

Это слово, в его современном смысле, не старше прошлого века[30]. Среди приводимых в словаре Робера значений французского глагола *exploiter* – «эксплуатировать», – от которого произведено существительное *exploitation* – «эксплуатация», – имеется следующее: “*faire travailler (qqn)*” – заставлять (кого-нибудь) работать за низкую плату, извлекая из этого несправедливый доход[31]. Чтобы понять, что такое «эксплуатация», надо уже знать, что значит «заставлять» (силой или как-нибудь иначе?), какая плата считается «низкой», и, главное, что такое «счто фабриканты заставляют работать на себя тех, у кого нет иной собственности, чем рабочая сила. К возражениям «либералов» мы еще вернемся: они сводятся, в общем, к тому, что человек, имеющий единственный способ выжить, свободен воспользоваться этим способом или нет. Труднее всего определить, что такое «справедливая» плата за труд. Но сначала посмотрим, что говорят об «эксплуатации» умные люди. Что говорят социалисты и их предшественники, мы уже знаем. Послушаем профессора Хайека и его единомышленника, такого же «либерала», Милтона Фридмана – знаменитого американского экономиста.

Во всей книге Хайека «Пагубная самонадеянность» я смог отыскать это слово лишь с помощью указателя в единственном месте, на стр. 93, и в случайной связи: автор говорит о торговле, что она «не обязательно означает выгоду одного за счет других (или то, что получило название эксплуатации)». Об эксплуатации рабочей силы Хайек как будто ничего не знает; кстати, весь неприличный факт «неограниченного капитализма» он старательно обходит стороной. Складывается впечатление, что для этого автора, очень довольного нынешним «расширенным порядком», такая цель оправдывает любые средства: его умолчаниям позавидовал бы иезуит.

Милтон Фридман, в своей книге «Капитализм и свобода», не столь осторожен. Параграф «Капитализм и равенство» он начинает с признания, что не все хорошо и при капитализме:

«Повсюду в мире, – говорит он, – встречаются примеры вопиющего неравенства в распределении доходов и материальных благ, оскорбляющего присущее большинству из нас чувство справедливости. Мало кто может остаться равнодушным перед лицом контраста между роскошью, которой наслаждаются одни, и ужасающей нищетой, в которой прозябают другие».

Слова «повсюду в мире» трудно понять в том смысле, что при капитализме такого безобразия нет; но послушайте, как г-н Фридман продолжает свой параграф:

«В прошлом столетии возник и окреп миф, что свободно-рыночный капитализм (то есть в нашем понимании – система равенства возможностей) лишь усугубляет это неравенство, что капитализм – это система, при которой богатые эксплуатируют бедных».

Ничего не может быть дальше от истины, чем это утверждение. Где бы ни позволялось функционировать системе свободного рынка, где бы ни существовали условия, хотя бы приближающиеся к равенству возможностей – везде рядовой человек оказывается способным достичь жизненного уровня, о котором он прежде не мог и мечтать».

Дальше г-н Фридман распространяется о положении трудящихся при феодализме, в современной России и красном Китае, – о чем я тоже ничего хорошего не могу сказать, – и о том, что современная техника облегчила физический труд и повысила жизненный уровень, что также справедливо, где такая техника в самом деле есть. Но вернемся к решью эксплуатируют бедных», но решительно опровергает это утверждение. Надо полагать, из его опровержения будет ясно, что же здесь имеется в виду. Если верить г-ну Фридману, «рядовой человек (при капитализме?) оказывается способным достичь жизненного уровня, о котором он прежде не мог и мечтать». По-видимому, это и есть аргумент против «эксплуатации». Поверим г-ну Фридману, что это и в самом деле происходит при современном капитализме, и что «рядовой человек», о котором идет речь, это не какой-нибудь счастливчик, а любой средний человек (обратите внимание, впрочем, на замечательную формулировку: «оказывается способным достичь», но не обязательно «достигает»!). Примем утверждение Фридмана за чистую монету, понимая его в самом оптимистическом смысле: «достигает». Означает ли это, что в таком обществе нет эксплуатации? Вспомним определение в словаре Робера. По-видимому, даже общее и равномерное повышение благосостояния трудящихся не снимает вопрос об эксплуатации, поскольку отношение доходов может остаться, или даже стать

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

более «несправедливым». Вам могут платить достаточно для ваших потребностей, но при этом – все равно вас обирать. Что «справедливость» имеет прямое отношение к эксплуатации, видно из первой фразы, где Г-н Фридман ужасается неравенству доходов. А во второй фразе говорится об «ужасающей нищете». Если «повсюду» в первой фразе не относится к «передовым» странам Запада, то к чему все это опровергать? А если обе первые фразы относятся к таким странам, то оптимистическое продолжение («Ничто не может быть дальше от истины...») прямо им противоречит. Но это еще не все. Обратили ли вы внимание на слова: «Где бы ни существовали условия, хотя бы приближающиеся к равенству возможностей». Что хочет сказать здесь Г-н Фридман? Что в странах вроде Соединенных Штатов такие условия существуют? Или под условиями он понимает отсутствие юридических препятствий? Но и в средние века крестьянский сын юридически мог стать папой римским, и уж во всяком случае богатым купцом. Если же Г-н Фридман имеет в виду нечто большее, чем юридическую фикцию, то вместо «равенства возможностей» следовало бы сказать: «счастливый случай». Я готов признать, что удача не исключена и для бедного труженика; например, это может быть Эдисон, или какая-нибудь кинозвезда.

пособен усвоить отдельную фразу, но не способен проследить связь между фразами. Кажется, благодаря Г-ну Фридману я нашел неплохое определение демагогии. Это несколько вознаграждает меня за возню с его сочинением.

Расстанемся теперь с рыцарями рынка и посмотрим, что говорит об эксплуатации Карл Поппер, выдающийся философ, честный человек и, как он полагает, решительный враг «социализма». В самом деле, его книга «Открытое общество и его враги» была в течение полувека источником идей для всех «антикоммунистов», и вряд ли какую-нибудь книгу так тщательно скрывали от советских читателей. Я согласен со многим в этой книге, и многое в ней люблю – но не все. Я не люблю ее пессимизма, но здесь не место об этом говорить. Что же думает Поппер об «эксплуатации»? И, главное, как он определяет это понятие? Дело в том, что Поппер – один из немногих мыслителей, способных к рациональному обсуждению социальных вопросов и, в частности, не пытающийся отделаться от них с помощью хитрых определений. Мы можем надеяться, что Поппер не откажется обсуждать явление капиталистической эксплуатации и объяснит, что он называет этим словом. И в самом деле, Поппер подробно говорит об этом во втором томе своей книги, главным образом посвященном Марксу.

Прежде всего, Поппер решительно осуждает главное требование «либералов», настаивающих на невмешательстве государства в экономическую жизнь:

«Я уверен, – говорит он, – что несправедливость и бесчеловечность описанной Марксом неограниченной [unrestricted] “капиталистической системы” не подлежат сомнению. Особенности этой системы можно лучше понять, приняв во внимание то, что мы называли в предыдущей главе парадоксом свободы. Если свобода не ограничена, она сама себя упраздняет. Неограниченная свобода означает, что более сильный может запугать более слабого и лишит его свободы. Именно поэтому мы требуем такого способа ограничения свободы государством, при котором свобода каждого защищена законом. Никто не должен жить за счет милосердия других, все должны иметь право на защиту со стороны государства.

Я считаю, что эти соображения, первоначально относившиеся к анализу области грубой силы, т. е. физического устрашения, должны быть применены также и к экономической сфере. Даже если государство защищает своих граждан от запугивания физическим насилием (что оно, в принципе, делает в системе неограниченного капитализма), наши цели могут оказаться недостижимыми из-за неспособности государства защитить граждан от злоупотребления экономической властью. В таком государстве экономически сильный сохраняет свободу запугивать экономически слабого, и может отнять у него свободу. В этих условиях неограниченная экономическая свобода может быть столь же саморазрушительной, как и неограниченная физическая свобода, и экономическая сила может быть так же опасна, как и физическое насилие. Дело в том, что тот, кто обладает излишком пищи, может заставить тех, кто голодает, “свободно” принять рабство, не прибегая ни к какому насилию. И если предполагается, что государство ограничивается слабо».

И дальше Поппер объясняет, как можно, по его мнению, предотвратить такую эксплуатацию:

«Если этот анализ правилен, то совершенно ясно, какое лекарство необходимо для лечения рассматриваемой социальной болезни. Таким лекарством должно быть политическое средство, подобное тому, которое мы используем против физического насилия. Мы должны сконструировать опирающийся на мощь государства социальный институт защиты экономически слабых от экономически сильных. Государство должно заботиться о том, чтобы никому не приходилось



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
вступать в несправедливые отношения под страхом голодной смерти или экономического краха.

Это, конечно, означает, что принципы невмешательства [non intervention] государства в экономику – принцип, на котором основывается экономическая система неограниченного капитализма – должен быть отброшен. Если мы хотим защитить свободу, то должны потребовать, чтобы политика неограниченной экономической свободы была заменена плановым вмешательством государства в экономику».

Эта проповедь очень странна в устах «непримиримого врага социализма», каким обычно считается Поппер. Его «лекарство» весьма напоминает политику шведских социал-демократов, в течение полувека почти непрерывно стоявших у власти и в самом деле много сделавших для защиты «экономически слабых». Мне кажется даже, что «программа-минимум» шведских социал-демократов (если у них есть какая-нибудь более радикальная программа) не очень отличается от того, что предлагает здесь Поппер. Я думаю, что Поппер переоценивает возможности любого государственного аппарата, даже контролируемого избирателями; это место его книги было написано в 1942 году, до неудачных экспериментов английских лейбористов. В общем, с точки зрения профессора Хайека Поппер должен был выглядеть «либералом» скорее в нынешнем американском смысле этого слова.

Но мы должны вернуться к смыслу слова «эксплуатация».

## 11. «Теория прибавочной стоимости»

Первая попытка определить, в чем состоит «эксплуатация труда рабочих капиталистами», принадлежит Марксу. Это была так называемая «теория прибавочной стоимости». Предполагалось, что с помощью этой теории Маркс «научно доказал» систематическое ограбление рабочих при капиталистической системе производства; это широко распространенное предположение принимали на веру не только рабочие-социалисты, но и пропагандисты-интеллигенты, как правило, не изучавшие громоздкие, написанные запутанным гегельянским жаргоном тома «Капитала», а усвоившие марксистские доктрины по каким-нибудь популярным брошюрам. Таким образом, марксистская идеология поддерживалась авторитетом «науки»: наивным людям объясняли, что сначала был «утопический социализм», основанный на благородном сочувствии угнетенным и на благих пожеланиях, а затем его сменил «научный социализм», объясняющий по всем правилам науки, каким образом капиталисты обирают рабочих, и предсказывающий как «научное предвидение» неизбежное крушение капиталистического строя и торжество «социализма». Исторические последствия этой доктрины были огромны. Люди, называвшие себя «марксистами», захватили власть в России, затем в Китае и в ряде стран Восточной Европы, Азии, Африки и Америки, и принялись «строить социализм» в этих странах, с известными печальными результатами.

Мы рассмотрим в дальнейшем, что представлял собой этот «марксизм»; теперь же мы разберем принадлежащую самому Марксу «теорию прибавочной стоимости» и связанное с ней марксово объяснение явления «эксплуатации».

Прежде всего, нельзя сомневаться, что первоначальным мотивом исследований Маркса было сочувствие страданиям тружеников и негодование, вызванное ужасами «неограниченного капитализма», о которых уже была речь. Это признают даже идейные противники Маркса. Вот что говорит Поппер, посвятивший второй том своей книги преимущественно опровержению «марксизма»:

«Я очень далек от того, чтобы защищать марксову теорию государства. Его теория бессилия всякой политики и, в частности, его взгляд на демократию кажутся мне не просто ошибками, но роковыми ошибками. Но следует признать, что за этими мрачными, хотя и остроумными теориями стоял мрачный и гнетущий опыт. <...> Исторический опыт Маркса повлиял таким образом не только на его общую концепцию отношений между экономической и политической системой; в частности, он повлиял на его понимание либерализма и демократии, которые он считал всего лишь прикрытием диктатуры буржуазии; и этот печальный опыт, казалось, вполне подтверждал такое истолкование общественной ситуации того времени. Потому что Маркс жил, особенно в молодости, в период самой бесстыдной и жестокой эксплуатации. И эту бесстыдную эксплуатацию цинично защищали лицемерные апологеты, апеллировавшие к принципу человеческой свободы, к праву человека определять свою судьбу и свободно заключать любые

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
договоры, какие он считает благоприятными для своих интересов.

Опираясь на лозунг «равной и свободной конкуренции для всех», неограниченный капитализм того времени успешно противился всякому трудовому законодательству вплоть до 1833 года [До избирательной реформы 1832 года английский парламент во многом сохранял средневековый характер. В палату общин могли выбирать только землевладельцы и богатые люди. Многие места в этой палате, состоявшей из сквайров и капиталистов, откровенно покупались за деньги. Палата лордов была наследственным учреждением. В других странах Европы парламентские учреждения едва зарождались. Люди физического труда не имели никакого влияния на законодательство.] , а в практическом его осуществлении гораздо дольше. Следствием этого были отчаяние и нищета, какие трудно представить себе в наши дни. К особенно невероятным страданиям приводила эксплуатация женщин и детей».

К сожалению, ни здесь, ни в других местах своей книги Поппер не пытается определить, что он называет «эксплуатацией», ограничиваясь описаниями бесправия и нищеты рабочих в эпоху «неограниченного капитализма». Из контекста видно, что Поппер имеет в виду объяснение эксплуатации, исходящее из экономических механизмов производства и распределения, что по существу и было целью Маркса.

Маркс полагал, что нашел такое объяснение в теории «прибавочной стоимости», к анализу которой мы сейчас приступим. Он исходил из «трудовой теории стоимости», предложенной основоположниками «политической экономии» Адамом Смитом и Давидом Рикардо. Целью этой теории, как и впоследствии у Маркса, было объяснение рыночных цен. Предполагалось, что при всех колебаниях цена товара в среднем соответствует некоторой его «внутренней» характеристике, неизменно с ним связанной и не зависящей от условий спроса и предложения. Эта характеристика, названная «стоимостью», измерялась рабочим временем, «общественно необходимым» для производства товара, т. е. необходимым при данном уровне техники и подготовки рабочей силы. Разумеется, при этом должны приниматься во внимание такие факторы, как квалификация работников, так что дело не сводится к простому подсчету часов работы, и вычисление «стоимости» согласно этому определению наталкивается на серьезные трудности, о чем еще будет речь дальше.

Несомненно, рабочее время, затраченное на изготовление товара, является одной из важных составляющих при образовании его цены, но исключительное значение, приписанное этому фактору классиками «политической экономии», включая Маркса, надолго задержало реалистическое понимание рыночного хозяйства. «Стоимость» рассматривали как свойство товара, не принимая в расчет связанных с товаром отношений.

При научном подходе к изучению рынка очевидно, что цена товара складывается в результате ряда взаимодействий между производителями, торговцами и покупателями и представляет собой, таким образом, следствие ряда отношений. Но когда цена уже установилась, она становится на какое-то время свойством этого товара (притом измеримым свойством, поскольку выражается числом). Поэтому научное изучение ценообразования, если оно возможно, должно идти от отношений к свойству. Основатели «политической экономии» пытались идти обратным путем: они приписывали товару некое основное свойство – «стоимость» – и хотели вывести из этого свойства отношение между продавцом и покупателем – рыночную цену товара. При этом делалось весьма произвольное предположение, что цена должна быть «в среднем» равна тому, что называлось «стоимостью». Но если заготовлен некоторый запас товара, а спрос на него меняется, то меняется и цена, без малейшего изменения свойств самого товара. По-видимому, «классики» считали, что при не слишком быстрых изменениях рыночных условий устанавливается некоторое равновесие цен, и тогда «стоимость» составляет нечто вроде «первого приближения» к цене. Такой подход имел бы научный характер, если бы «трудовое» определение «стоимости» (с помощью рабочего времени) давало возможность ее вычислить. Но рабочее время, необходимое для изготовления товара, включая добычу сырья, транспорт и оборудование предприятия, надо брать «взвешенным», то есть с учетом квалификации рабочих. Рабочий требуемой квалификации, на всех этапах производства, может недоставать, или они могут быть в избытке, точно так же, как сырье, транспортные средства и машины. Чтобы вычислить «взвешенное» рабочее время в таких сложных условиях, надо заниматься отношениями спроса и предложения, так что в конечном счете первичным понятием оказываются все же отношения, а свойство, именуемое «стоимостью» – вторичным. Но если нельзя вычислить «стоимость» без учета всех этих отношений, то зачем вообще нужно это понятие? Не проще ли прямо исследовать, от чего зависит цена?

Анализ Поппера приводит его к выводу, что «классики» политической экономии впали в эссенциализм [Эссенциализмом (от латинского *essentia* – сущность) чтобы ткать, пахать, сражаться и копать землю; /называется

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
господствовавшая до возникновения современной науки точка зрения Платона и Аристотеля, согласно которой каждый объект обладает неким основным свойством, вполне определяющим все другие его свойства. Такое основное свойство Аристотель называл «сущностью» объекта; главной целью науки он считал словесное определение «сущностей» возможных вещей.], пытаюсь обнаружить в товаре некую «сущность» под именем «стоимости», определяющую ее рыночную цену. Впрочем, он считает, что Маркс стремился избавиться от такого схоластического подхода: «Все представление – изобретенное не самим Марксом, – что существует нечто стоящее за ценами, некая объективная, реальная или истинная стоимость, для которой цена – всего лишь “форма проявления”, достаточно ясно свидетельствует о влиянии Платонова идеализма с его различием между скрытой существенной или истинной реальностью и случайной или обманчивой видимостью. Надо сказать, что Маркс предпринял большие усилия, чтобы уничтожить этот мистический характер объективной “стоимости”, но безуспешно <...> В трудовой теории стоимости Платонова “сущность” совсем отделилась от опыта <...>».

## 12. Аналогия между стоимостью и энергией

Чтобы лучше понять, чем руководствовался Маркс в своем упорном стремлении обосновать понятие «стоимости», надо принять во внимание эпоху, когда он работал над «Капиталом». Это было время бурного расцвета точных наук, когда были введены в научный оборот самые фундаментальные для естествознания понятия энергии и энтропии. В предисловии ко второму тому «Капитала» Энгельс сравнивает «стоимость» с кислородом, открытым Лавуазье (вместе с законом сохранения вещества). Ясно, что Маркс и в самом деле руководствовался аналогиями с физикой. «Количество вещества» непосредственно измеряется его массой, но энергия, заключенная в теле, не поддается прямому измерению. Закон сохранения энергии, открытый в пятидесятые годы Майером и Джоулем, был найден по аналогии с законом сохранения вещества. Это открытие не могло остаться неизвестным Марксу, внимательно следившему за успехами естественных наук: Маркс всегда хотел, чтобы его считали не философом, а ученым. Аналогия между энергией и «стоимостью» разительна и, кажется, еще не была отмечена. Я не утверждаю, что Маркс ее осознавал, но он работал под влиянием «духа времени», а это был, несомненно, дух точного естествознания.

Напомню, что такое энергия. В физике предполагается, что «тело» может находиться в разных «состояниях» и с каждым из этих состояний можно связать определенную числовую характеристику – энергию тела в этом состоянии. Ее нельзя непосредственно измерить, и в этом смысле она выглядит несколько таинственно; но если состояние тела изменяется, то можно измерить ее приращение. Пусть  $U(A)$  есть энергия тела в состоянии  $A$ ,  $U(B)$  – энергия тела в состоянии  $B$ . Тогда приращение энергии при переходе тела из состояния  $A$  в состояние  $B$  есть разность  $U(B) - U(A)$ . Эта разность равна работе внешней силы над телом при указанном переходе, которая измеряется произведением действующей силы на перемещение тела. Если мы уже знаем энергию  $U(A)$  в состоянии  $A$ , то, прибавив к ней работу силы, можем найти энергию  $U(B)$  в состоянии  $B$ . Обычно выделяют некоторое «начальное» состояние тела  $A$  и принимают, что энергия  $U(A)$  в этом состоянии равна нулю; тогда, подсчитав работу перехода, можно вычислить энергию  $U(B)$  того же тела в любом состоянии  $B$ . Например, если поднять тело с уровня земли на некоторую высоту и принять его энергию на земле равной нулю, то энергия поднятого тела равна работе, затраченной на его подъем, и пропорциональна высоте подъема [в действительности это простое правило усложняется, когда играют роль явления трения, тепловые потери энергии, электромагнитные поля и т. д., но для нашей аналогии достаточно сказанного выше.] .

Если теперь заменить «тело» на «товар», а энергию на «стоимость» товара, то приращение «стоимости» при изготовлении товара естественно считать равным затраченной при этом работе. Если товар поступил на фабрику в виде  $A$ , а вышел с фабрики в «обработанном» виде  $B$ , то можно думать, что увеличение «стоимости» равно этой работе, измеренной в некоторых единицах. Если принять, что в некотором «исходном» состоянии  $A$  «стоимость» товара равна нулю, то кажется возможным вычислить его «стоимость» в любом состоянии  $B$ .

Остается определить численное значение работы; но здесь принятое в

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
физике правило (умножить силу на перемещение тела) оказывается непригодным, так как работа над товаром не сводится к его простому перемещению, а оценка ее не очевидна. Попытка «классиков» политической экономии оценить ее числом рабочих часов приводит, как мы видели, к непреодолимым трудностям.

Поскольку все значение понятия «стоимости» состоит в объяснении цен, любое возможное улучшение методов ее вычисления означало бы, по существу, объяснение ценообразования; «стоимость» же оказывается излишним схоластическим двойником цены. Надо сказать, что «эссенциальный» характер «стоимости» маскируется ее числовым выражением: ведь «сущности» Аристотеля никогда не имели такого выражения, а определялись словесно. Мне кажется, что в понятии «стоимости» трагически смешались «сущностное» мышление средневековья и «количественное» мышление нового времени. «Энергетика» вызвала в свое время возражения, психологически сходные с критикой «эссенциализма», и устояла лишь благодаря точным количественным определениям и опытной проверке. Было бы интересно выяснить, какое положительное влияние имели при этом идеи Платона, присутствовавшие также в умах физиков того времени – ведь в то время гуманитарное образование получали все. Нельзя сказать, чтобы количественный подход был чужд мышлению Маркса. В третьем томе «Капитала» он пытался уже учесть факторы, от которых зависит образование цен, прежде всего – спрос и предложение. Его анализ, весьма пронизательный в конкретных вопросах, часто согласовался с экономической жизнью его времени, но от призрака «стоимости» он отказаться не мог.

### 13. Противоречивость трудовой теории стоимости Рикардо и теории прибавочной стоимости Маркса

Мы должны проследить развитие, которое Маркс дал этому понятию, поскольку концепция «прибавочной стоимости», как уже было сказано, имела важнейшие исторические последствия. Основные гипотезы «трудовой теории стоимости», унаследованные Марксом от его предшественников, можно сформулировать следующим образом:

I. Средняя цена товара равна его стоимости.

II. Стоимость, произведенная трудом, определяется затраченным (средним) рабочим временем, но не зависит от вида труда [Это несколько огрубленная форма «закона стоимости Рикардо», что не отражается на наших выводах.] .

Главной трудностью, с которой встретилась «школа Рикардо», была «стоимость» рабочей силы. Еще предшественники Маркса понимали, что рабочая сила выступает на рынке в качестве товара, который ее владелец – рабочий – продает капиталисту. Тогда, как и всякий товар, она должна иметь «стоимость». Но этот особый товар не изготавливается, как все другие товары. Вот как резюмирует Энгельс эту трудность:

«Труд есть мера стоимости. Но живой труд при обмене на капитал имеет меньшую стоимость, чем овеществленный труд, на который он обменивается. Заработная плата, стоимость определенного количества живого труда, всегда меньше, чем стоимость продукта, который произведен этим самым количеством живого труда или в котором этот труд выражается. В таком понимании вопрос действительно неразрешим».

За исключением последней фразы, здесь излагаются взгляды Рикардо. Поскольку текст испорчен гегельянским жаргоном, он нуждается в объяснении. Первая фраза равносильна предыдущей гипотезе II и означает, что принимается «трудовое определение стоимости». «Живой труд» во второй фразе означает товар, который рабочий продает капиталисту – его работу в течение усвоенного времени. Обмен этого «живого труда» на «капитал» означает, что рабочий получает за свой труд заработную плату – цену этого труда. По предыдущей гипотезе I, эта цена равна «стоимости» труда, выполненного рабочим. Две первых фразы, по-видимому, не допускают другого понимания, но при этом возникает принципиальная трудность. К товару под названием «живой труд» здесь применяются гипотезы, приписывающие ему «стоимость». Но гипотеза II относится к товарам, произведенным трудом, тогда как «живой труд» не производится трудом, а сам является трудом. Разница здесь примерно такая, как если бы сначала определили часы как прибор для измерения времени, а затем пытались определить понятие времени с помощью тех же часов. Но чтобы понять, что такое часы, недостаточно видеть их стрелки. Здесь перед нами типичный пример того, как человеческий «кудрявый» язык

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) маскирует логические ошибки.

Поскольку общее определение «стоимости», как мы видели, неприменимо к товару «живой труд», стали искать для этого случая особое определение (то есть такое, где «стоимость» товара не определяется трудом, затраченным на его производство). Тем самым, пытаясь спасти гипотезу I, нарушили гипотезу II: «стоимость живого труда» приравнивали его цене – заработной плате. Это и означает выражение во второй фразе: «живой труд при обмене на капитал».

Но в третьей фразе мы находим другое, особое определение «стоимости живого труда»: она определяется как «стоимость продукта, который произведен этим количеством живого труда или в котором этот труд выражается»; иначе говоря, она приравнивается к цене всего произведенного товара. Это опять-таки не спасает гипотезу II, но нарушает также и гипотезу I.

Таким образом, Рикардо и его школа дали два различных особых определения «стоимости живого труда» и усмотрели парадокс в том, что они не согласуются между собой: заработная плата, как известно из опыта, всегда меньше цены произведенного товара. Маркс и Энгельс точно так же видели здесь парадокс, не замечая, что разные понятия выступают здесь под одним и тем же названием. К сожалению, знаменитый логик Поппер не выяснил всю эту путаницу, а по существу лишь воспроизвел ее в других выражениях [32]. Во всяком случае, Маркс искал выход из этой путаницы и нашел его в удивительной схоластической конструкции. Он пришел к выводу, что «живой труд» нельзя считать товаром. Что же, в таком случае, рабочий продает капиталисту? Выход, найденный Марксом, состоит в следующем. Он решил, что рабочий продает капиталисту не свой «живой труд», а свою «рабочую силу». Эта рабочая сила измеряется не временем работы, а временем, необходимым для производства (или воспроизводства) самой рабочей силы – то есть всего живого организма рабочего, используемого на фабрике. Чтобы рабочий мог выполнить свой дневной труд, он должен получить некоторое количество еды, одежды, какое-то жилище, и еще позаботиться о выживании детей (чтобы и в будущем была рабочая сила). Стоимость всех этих необходимых для выживания вещей, то есть рабочее время, необходимое для их производства, и есть «стоимость» рабочей силы, по которой она продается, в соответствии с гипотезой I. По этой гипотезе заработная плата должна точно соответствовать минимальным потребностям, без удовлетворения которых «рабочая сила» не могла бы выполнять свои функции. Никаких излишеств капиталист рабочему не предоставляет. И все это происходит в полном согласии с законом стоимости.

Таким образом, Маркс не только определил «стоимость» рабочей силы по общему правилу (через рабочее время, необходимое для ее производства), но и объяснил, как он думал, нищету рабочего класса при капитализме. В самом деле, оплата рабочей силы соответствует ее «стоимости», и нищета рабочих объясняется не обманом или другими безнравственными поступками капиталистов, а самим механизмом действия капиталистической экономики: «научно» доказывается, что этот строй неизбежно порождает нищету рабочих. Нетрудно представить себе впечатление, произведенное этой конструкцией на самого Маркса и его последователей. Даже Поппер называет ее «первоклассным научным результатом», хотя у Поппера нет для такой оценки уважительных причин: ведь он считает самое понятие «стоимости» метафизической абстракцией. Конструкция Маркса вовсе не научна, потому что «стоимость» производства рабочей силы еще меньше поддается вычислению, чем «стоимость» других товаров. Цена рабочей силы, то есть заработная плата, определяется, как и все рыночные цены, конкретными механизмами спроса и предложения, которые и приходится изучать в разных странах. Маркс построил свое «объяснение» нищеты рабочих, думая, что занимается «положительной наукой», но в действительности это мнимое объяснение в духе средневековой схоластики. Схоластика объясняла, на словесном уровне, все на свете: для Фомы Аквинского не составляло труда подогнать рассуждение под заранее заданный результат. Беда в том, что такие рассуждения не позволяют ничего предвидеть.

И в самом деле, вывод Маркса о том, что заработная плата рабочего при капитализме неизбежно должна быть равна прожиточному минимуму для рабочего и его семьи, не подтвердился в экономическом развитии Запада. Нельзя даже утверждать, что этот вывод был справедлив во время, когда был высказан, но перестал быть верным впоследствии: все рассуждение о «стоимости» рабочей силы не содержит никакого исторического контекста. «Научное предвидение» нищеты рабочего класса просто провалилось. Правда, можно было бы сказать, что вся «теория стоимости» в ее классической форме относилась, неявным образом, лишь к условиям «неограниченного капитализма»; но, опять-таки, предвидение дальнейшего хода событий, на которое претендовал Маркс, оказалось невозможным.

Эмоциональное воздействие аргументации Маркса основывалось на следующей наглядной картине. «Рабочая сила» оказывается товаром особого рода: в

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
отличие от других тчий производит за какое-то время количество товара, «стоимость» которого равна «стоимости» его рабочей силы, то есть дневной заработной плате. Но затем он работает дальше, производя «прибавочную стоимость», которую капиталист присваивает, ничем не вознаграждая за нее рабочего. И хотя, по всем правилам «теории стоимости», рабочий получил полную цену за свою рабочую силу, «прибавочная стоимость» достается капиталисту без всякого видимого права. Это и есть марксово объяснение эксплуатации рабочих при капитализме.

Ясно, что это объяснение выходит за рамки того «экономического» рассуждения о «стоимости рабочей силы», которое Маркс считал научным. В нем откровенно используются эмоциональные мотивы и ссылки на «несправедливость», то есть этические соображения – правильные или нет. Впрочем, у Маркса не было никакой попытки определить, что он называет «эксплуатацией» – как не было ее ни у кого из писателей, касавшихся этого предмета после него; поэтому у него не могло быть и «научного» объяснения явления эксплуатации.

Поппер, в заключение своего анализа «теории прибавочной стоимости», говорит следующее:

«С другой стороны, ясно, что законы спроса и предложения не только необходимы, но и достаточны для объяснения всех феноменов “эксплуатации”, которые рассматривал Маркс – точнее, явления нищеты рабочих наряду с богатством предпринимателей – если допустить, вместе с Марксом, свободный рынок труда и постоянный избыток его предложения... Как показал Маркс, достаточно ясно, почему при таких условиях рабочие вынуждены работать долгие часы за низкую заработную плату, иначе говоря, позволять капиталисту “присваивать лучшую часть плодов их труда”. И в этом тривиальном рассуждении, отчасти принадлежащем самому Марксу, нет надобности даже упоминать о “стоимости”».

Можно подумать, что Поппер дает здесь, наконец, определение «эксплуатации»: это явление «нищеты рабочих, наряду с богатством предпринимателей». Как мы уже видели, занимаясь рассуждениями Фридмана, такое определение явно не годится. «Нищета» и «богатство», как и все вообще оценки, в абсолютном выражении бессмысленны. «Мало» и «много», «большой» и «малый», «тяжелый» и «легкий» – все это пустые слова, если не сказано, по отношению к какому объекту дается оценка. «Нищета» американского безработного, живущего на пособие, покажется богатством индийскому рабочему, получающему обычную в Индии заработную плату. Верно, конечно, что «единственной» мерой нищеты или богатства можно считать степень удовлетворения средних физиологических потребностей человека. Но при таком подходе упускается из виду представление о «несправедливом» вознаграждении за труд, которое даже в словарях признается существенным для определения «эксплуатации». Нельзя определять понятие, пренебрегая эмпирическим и интуитивным смыслом, который вкладывает в него повседневная речь. Если говорить об «эксплуатации», не касаясь «справедливости», то получается очевидная манипуляция термином, значение которого нуждается лишь в уточнении. Вспомним, что Лоренц называет ученого «профессиональным уточнителем понятий».

Впрочем, Поппер, в отличие от самоуверенного Г-на Фридмана, недоволен своим анализом «эксплуатации» и признает, что «детального и удовлетворительного объяснения этого явления все еще нет».

\*\*\*

Можно заметить, что все авторы, писавшие об «эксплуатации» рабочих, сопоставляли некоторые экономические условия и вытекающие из них социальные отношения с представлениями о том, «что хорошо и что плохо», то есть с ценностными суждениями, которые, как молчаливо предполагалось, у читателя и автора совпадают. Явления «эксплуатации», как это видно уже из эмоциональной окраски этого слова в применении к человеческим существам, всегда рассматривалось как нечто «плохое», чего «не должно быть» или, у крайних пессимистов, как «неизбежное зло». Из всех попыток разоблачения и обличения капиталистической эксплуатации самой известной была только что описанная «теория прибавочной стоимости» Маркса. Но, как справедливо говорит Поппер, конечный вывод этой теории вовсе не зависит от понятия «стоимости». Для этого вывода важно лишь, что в известных условиях, обычно сопутствующих рыночному хозяйству, избыточное предложение рабочей силы вынуждает рабочего продавать свой труд за плату, намного меньшую цены произведенного этим трудом товара, и Маркс считает очевидным, что такое положение вещей «несправедливо». Я поставил это слово в кавычки не потому, что не согласен с этим мнением и считаю описанный порядок справедливым, а лишь для того, чтобы напомнить, что смысл самого слова «справедливость» еще

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) не был подвергнут исследованию.

Прежде всего бросается в глаза – и сам Маркс это хорошо знал, – что значительная часть выручки от проданного товара должна затрачиваться на неизбежные производственные и торговые расходы. Оборудование производства (здания, машины, инструменты), его эксплуатация (в другом, невинном смысле этого слова[33]) и периодическое обновление поглощают значительные средства, которые предприниматель не может не тратить, если производство должно быть эффективным и, следовательно, конкурентоспособным. Далее, доставка товара на рынок и его продажа очень редко осуществляются самим предпринимателем; это деятельность, требующая совсем других навыков и оплачиваемая другим людям за счет проданного товара. Таким образом, разность между ценой произведенного товара (на свободном, по предположению, рынке) и заработной платой, выплаченной рабочим – то, что Маркс называл «прибавочной стоимостью» – далеко не полностью достается капиталисту. Кроме рабочих, в производстве участвуют еще технические специалисты, менеджеры и т. д., но можно считать, что все эти наемные служащие, наряду с рабочими, получают лишь часть цены продукта и, тем самым, также подвергаются «эксплуатации». Для простоты можно считать их «рабочими» особой квалификации. После учета всех производственных и торговых расходов остается, как известно, чистый доход собственника, без которого у него не было бы мотива заниматься своим предприятием. Часть этого дохода идет в запас, на увеличение «капитала» фирмы, а другая часть потребляется собственником. Несомненно, резервный капитал необходим на случай неожиданных изменений рыночной ситуации или стихийных бедствий. Но распоряжается этим капиталом только собственник, и он может считать его своей собственностью, употребляя ее, как ему угодно. (Для простоты я говорю здесь о собственнике в единственном числе; дележ дохода между несколькими собственниками или акционерами фирмы ничего не меняет в обсуждаемом вопросе, если только предприятие не принадлежит самим рабочим – но тогда это уже не капиталистическое предприятие).

#### 14. Зачем нужен капиталист?

Излюбленный аргумент сторонников капитализма состоит в том, что собственник предприятия – капиталист – тоже работник, а именно, «организатор производства», имеющий специальные навыки инициативы, руководства и конкуренции, без которых производство не могло бы преуспевать. В наше время этот аргумент сомнителен, так как все современные сколько-нибудь крупные фирмы управляются наемными директорами, акционеры же почти никогда не участвуют в принятии решений, а всего лишь «получают дивиденды». Но во времена Маркса единоличный собственник предприятия был самой обычной фигурой. Так как он нанимал инженеров и мастеров, то его роль «организатора производства» сводилась к выбору руководящего персонала на своем предприятии и к определению рыночной политики, то есть поведения по отношению к потребителям, торговцам и конкурентам. На языке нашего времени он был «специалист по человеческим отношениям», но не в том смысле, какой вкладывается в это выражение деловой практикой современных компаний. Главными качествами собственника были хитрость, скрытность и изворотливость в конкурентной борьбе. Как мы видели, даже современный нам апологет капитализма профессор Хайек не стыдится признать, что именно эти качества необходимы удачливому дельцу. Рыночное хозяйство есть то, что древние называли *bellum omnium contra omnes*, война всех против всех; в литературе наилучшее описание делового мира оставил Бальзак. Популярное сравнение этого мира с джунглями, а собственника-капиталиста с хищником слишком лестно для этих людей: джунглями управляют безжалостные, но неуклонно соблюдаемые биологические законы, вынуждающие хищника «эксплуатировать» животных других видов, но почти никогда не сталкивающие его в прямой борьбе с братьями по виду. Вопреки французской поговорке, волки никогда не пожирают друг друга; во всей живой природе пожирают друг друга только собственники, ведущие между собой нескончаемую войну без правил. Потому что соблюдение «моральных правил» даже в наши дни сделало бы предпринимателя жертвой его не столь разборчивых конкурентов; если же говорить о первоначальном «неограниченном капитализме», то все искусство удачливого дельца состояло в умении обходить законы. Историки раскопали в архивах, как начинали Рокфеллеры, Морганы и Вандербильты, и утверждают, что «в основании

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
всех крупных состояний лежит преступление». Но стоит ли обращаться к практике «неограниченного капитализма»? Этот мавр сделал свое дело и породил наш замечательный «расширенный порядок», который, как многие благородные сыновья, стыдится имени своего отца. Допустим, для простоты, что нынешние капиталисты строго соблюдают установленные государством законы – потому что «моральные правила» Хайека вряд ли имеют для них – и для него – какой-нибудь другой смысл. Но обратите внимание на терминологию Хайека: вместо капитализма нынешний деловой мир называется «расширенным порядком», а законы, соблюдаемые во избежание уголовного наказания, называются «моральными правилами». Наименования не так уж безразличны, как можно подумать. Вспомните, что означают на родном языке профессора Хайека имена чертей [34].

Видимая эффективность современного капитализма и возможные последствия этой системы для нашего вида будут рассмотрены дальше, в третьей части нашего исследования [35]. Теперь нас интересуют лишь качества капиталиста как «организатора производства», оправдывающие, как нам говорят, его исключительно щедрое вознаграждение. Эти качества не выглядели сколько-нибудь привлекательно при «неограниченном капитализме», когда еще не было отменено рабство негров, а положение «свободных» рабочих казалось, подтверждало гипотезу Маркса о «стоимости» рабочей силы. Несомненно, характер и поведение типичного капиталиста того времени резко противоречили принципам христианской нравственности, запечатленным историей в сознании рабочих. Несомненно, контраст между образом жизни капиталиста и рабочего воспринимался как несправедливость и вызывал у них негодование. Движение «луддитов» в Англии, ломавших машины, восстания лионских ткачей и множество других грозных явлений свидетельствуют о том, что ненависть к господствующему классу еще до возникновения социалистических учений стала постоянным мотивом европейской общественной жизни.

Причины такой психической установки следует искать не только в экономических условиях, создавших определенный тип общества, но и в этических представлениях людей, оценивавших создавшиеся отношения. Откуда взялись этические представления, требовавшие, чтобы «ленивое брюхо не поглощало того, что создают прилежные руки»? Есть ли на самом деле «эксплуатация» рабочих при капитализме, и что это такое? Что такое «социальная справедливость» – только ли демагогический лозунг, выражающий зависть неудачников и неспособных? Можно ли придать этим словам объективный смысл?

\*\*\*

Прежде всего надо отдать себе отчет, что слова эти относятся к так называемым «ценностям», то есть к традиционным представлениям о том, что хорошо и что плохо, а вовсе не к тем или иным условиям производства. Отчаявшиеся рабочие, ломавшие машины, этого не понимали. Точно так же заблуждались марксисты, усматривавшие социальную несправедливость в капиталистической организации производства. Сам Маркс понимал, что эта организация подобна сложной, эффективно работающей машине, и вовсе не хотел разрушить ее, а напротив, хотел использовать ее в интересах тружеников, устранить только «несправедливое» распределение доходов. Я оставляю пока в стороне вопрос, возможно это или нет. Если интересующие нас понятия относятся к традиции нашей культуры, более того, к традиции любой культуры, то они должны быть несравненно старше капитализма. Понятия о том, что хорошо и что плохо, надо искать в самой «природе человека», если только само это выражение удастся определить.

## 15. Что такое «природа человека»?

Выражение «природа человека» обычно употребляется для описания тех свойств, которые присущи всем людям во все времена. Ясно, что сюда не следует включать такие социальные характеристики, как сословная и классовая принадлежность, или такие племенные характеристики, как раса или национальность. Тем более отпадают признаки, свойственные людям отдельных культур; но те признаки, которые повторяются во всех культурах, хотя бы с вариациями, зависящими от места и времени, имеют отношение к «природе человека». Ясно, что под «природой человека» следует понимать биологические



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
свойства нашего вида homo sapiens. Условившись о таком (по существу, общепринятом) употреблении этого термина, мы будем писать его без кавычек.

Надо заметить, что в прошлом понятие природы человека толковали не только в биологическом смысле, но включали в него и некоторые «моральные» характеристики, например: «Человек рождается чистым и добрым, а все дурные черты в нем развиваются окружающим обществом», или: «Человек рождается с склонностью к злу, а общество пытается ограничить эту склонность». Все религии подчеркивают ту или другую сторону «образа человека», но чаще всего – доктрину «первородного греха». Так как «моральные свойства» человека очевидным образом зависят не только от его биологических задатков, одинаковых для всех особей нашего вида, но и от общественной среды и традиций, которые весьма разнообразны, мы не будем включать их в понятие природы человека, сохраняя этот термин для тех свойств, которые всегда и неизменно присущи всем людям.

Итак, нас будут интересовать биологические характеристики нашего вида, и в особенности те психические установки, которым можно приписать инстинктивный характер. Под инстинктами понимаются генетически наследуемые стимулы поведения, в том числе те, действие которых требует «запуска» на той или иной стадии детства, о чем еще будет подробнее сказано в дальнейшем.

Как известно, человек – очень особенный вид, даже в отношении самых древних, универсальных животных инстинктов. Мы не можем удовлетворительно объяснить его исключительные черты, выделяющие его из всех животных, – то есть не умеем вывести их происхождение из общепринятого в наше время определения человека. Человек определяется как животное, способное к понятийному мышлению и связанному с ним употреблению символического (словесного) языка. Перечисляемые дальше особые свойства человека должны были, по-видимому, возникнуть под действием этого основного свойства или одновременно и в причинной связи с ним, но мы не умеем сказать об этом что-либо объективно доказуемое [Конечно, любое «определение» человека, в том числе и это новейшее, напоминает Аристотелю «сущность», и упорные попытки антропологов дать такое определение подвержены той же критике, что и «сущности» средневековых схоластов. В этом месте мы хотим лишь сказать, что некоторое отличие человека от других животных, которое кажется решающим, не позволяет нам объяснить другие отличия.]

Во-первых, человек потребляет на килограмм веса в пять раз больше энергии, чем любое другое высшее животное. Можно сказать, что он «гиперэнергетичен». Может быть (это всего лишь предположение), такая способность поглощать энергию связана с особыми преимуществами в добыче. Выражение «природа человека» обычно употребляется для описания тех свойств, которые присущи человеку, как мясной пищи, которые доставляет человеку его мозг. Чем объясняется потребность в таком количестве энергии, трудно сказать. Мозг сам по себе потребляет очень мало энергии, но человек, несомненно, деятельнее всех других крупных хищников, которые затрачивают много энергии лишь во время охоты, тогда как человек регулярно «работает» целыми днями.

Во-вторых, человек «гиперсексуален»: он проявляет половую активность круглый год, тогда как другие высшие животные стимулируются к ней лишь в определенные периоды. Кажется, до сих пор эта особенность человека не получила никакого объяснения; но очень вероятно, что она оказала влияние на следующее его свойство, о котором мы знаем несколько больше.

В-третьих, человек «гиперагрессивен». Инстинкт внутривидовой агрессии, общий всем хищникам, у человека также ограничен «корректирующими» инстинктами, требующими лишь изгнания конкурента с охотничьего участка, но не его убийства, и охраняющими самок в период размножения, вместе с подрастающим потомством. На ранней, еще дочеловеческой стадии развития наших предков-гоминид они были разделены на стада численностью в несколько десятков особей, подобно нынешним человекообразным обезьянам. Но, в отличие от шимпанзе и горилл, у которых столкновения между стадами редки и относительно безобидны, стада наших предков вступили в ожесточенную конкуренцию между собой, причины которой оставляют широкое место для предположений. Возможно, в периоды оледенений некоторые популяции гоминид оказались изолированными в областях с крайне скудными ресурсами и нашли выход в истреблении конкурирующих групп. Во всяком случае, стада гоминид превратились в более крупные сообщества – племена, – которые вели между собой непрерывные войны. Очевидным признаком этого является каннибализм, также совершенно исключительное явление среди высших животных. Даже у низших млекопитающих единственным исключением являются крысы, у которых также происходят «войны» между популяциями и наблюдается каннибализм. На стоянках доисторического человека обычно находят расколотые кости и пробитые черепа людей – очевидно, убитых «врагов»; особенно ценился

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
качестве лакомства человеческий мозг. По-видимому, на стадии бродячих охотничьих сообществ непрерывные войны и каннибализм были присущи всем без исключения племенам наших предков. Эти явления отмечены этнографами у многих примитивных племен, но и до сих пор более крупные сообщества людей – государства – ведут между собой уже давно бессмысленные войны.

Войны между племенами сопровождались значительным ослаблением инстинктов, корректирующих инстинкт внутривидовой агрессии: без этого были бы невозможны убийства своих собратьев по виду, совершенно исключенные в нормальных случаях у всех высших млекопитающих. В этих условиях особое значение приобретала внутривидовая сплоченность, инстинктивные основы которой были унаследованы от обезьяньего стада и усилены групповым отбором. В борьбе между племенами происходил, несомненно, отбор наиболее приспособленных групп, аналогичный отбору наиболее приспособленных индивидов, описанному Дарвином. Значение группового отбора в ходе эволюции животных еще мало изучено, но уже нет сомнений в его реальности, и есть достаточное число его убедительных примеров. Племена, в которых сплоченность не была традицией (и даже, как это описано в некоторых патологических случаях, проявлялся внутривидовой антагонизм), имели мало шансов на выживание в состязании со сплоченными, эффективно организованными племенами. Несомненно, общие черты поведения, наблюдаемые во всех жизнеспособных, «нормальных» племенах, свидетельствуют об инстинктивно закрепленных механизмах, обеспечивающих ненападение и сотрудничество между членами племени. В более развитых сообществах на этой основе выработались нормы поведения, о которых уже была речь при обсуждении единообразия правовых систем [Одним из первых авторов, говоривших об инстинктивных механизмах «сотрудничества» между людьми, был П.А. Кропоткин, противопоставлявший их дарвиновым механизмам «конкуренции». В то время такие взгляды казались фантастическими.]

В сплоченности племени важную роль играл процесс, который Конрад Лоренц называет «устранением асоциальных паразитов». Одним из видов сотрудничества между животными, по-видимому, выработанным групповым отбором, является коллективная защита от хищника, известная под названием mobbing (от англ. mob – толпа), или, на языке немецких охотников, Hassen (ненависть). Птицы, по отдельности слабые и лишенные эффективных защитных средств, нападают на хищную птицу все вместе, окружая ее со всех сторон, нанося ей раны клювами и когтями, а главное, мешая ей ориентироваться и выбрать себе жертву. У более сильных животных, таких, как буйволы или павианы, взрослые самцы образуют линию обороны вокруг стада, помещая внутрь этого «фронта» самок и молодых животных. Коллективные механизмы защиты стада носят, несомненно, инстинктивный характер. Точно так же коллективно выполняются различные строительные работы, начиная с муравьев, термитов и пчел, до бобров с их плотинами и подводными жилищами, и все эти действия также инстинктивны, то есть генетически запрограммированы. Как и все инстинкты, эти инстинкты сотрудничества и взаимопомощи могут у отдельных индивидов выпадать; такие индивиды пользуются усилиями своих собратьев по виду, но не принимают участия в этих усилиях. Лоренц замечает, что подобное поведение доставляет таким «асоциальным паразитам» очевидные преимущества, и ставит вопрос, почему это не приводит к их умножению: в самом деле, каждое преимущество производит селекционное давление. Активное «устранение асоциальных паразитов», по выражению Лоренца, наблюдается лишь на крайних ступенях биологической эволюции: в сообществе клеток и в сообществе людей. Рост и метаболизм клетки подчиняются ее функциям в составе ткани, которой она принадлежит. Но ненормальная, раковая клетка начинает неограниченно делиться, производя паразитическую популяцию, вредную для организма; для искоренения таких мутаций служит иммунная система. Аналогичную роль, – говорит Лоренц, – играет в человеческом обществе устранение преступников, нарушающих интересы сообщества в целом. Трудно себе представить подобные санкции по отношению к птице, не участвующей в «травле» хищника; но, вероятно, появление «асоциальных паразитов» предотвращается групповым отбором, устраняющим «недостаточно сплоченные» группы.

Поскольку в истории нашего вида племенная сплоченность играла совершенно исключительную роль, а групповой отбор свирепствовал в виде нескончаемых войн, можно понять, почему во всех племенах Земли выработались очень похожие механизмы «устранения асоциальных паразитов». Я воспроизвожу это выражение Лоренца без колебания. Лоренц, оберегающий то, что осталось от западной традиции, выступает против «пермиссивной» установки современного общества, препятствующей изоляции уголовных преступников и эффективной защите от них нормальных законопослушных граждан. Такую изоляцию преступников он и сравнивает с устранением раковых клеток, составляющим задачу иммунной системы. Вероятно, он не стал бы возражать против подобного же «устранения» каких-нибудь баронов-разбойников, засевавших

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) в своих замках на перекрестках дорог и выезжающих оттуда грабить путников, как это случилось в средневековой Германии. Но я не уверен, что он посмотрел бы точно так же на промышленных и финансовых воротил, засевших в своих компаниях и банках. В самом деле, замки баронов можно было снести без вреда для их страны, а компании и банки разрушать опасно, как видно из всевозможных революционных экспериментов. Как я покажу дальше, Лоренц не был консерватором, каким его изображают. Осторожность необходима, но проблема асоциальных паразитов заслуживает обсуждения.

## 16. Генетическая и культурная наследственность

Между первобытным племенем и современным обществом прошло несколько тысяч лет – слишком малый срок для существенного изменения инстинктивных механизмов поведения и индейцы любого охотничьего племени, не знавшие частной собственности и государства, но уже имевшие семью, систему родственных связей и систему власти жрецов и вождей. Все различия между племенным обществом и современным «цивилизованным» обществом обусловлены не генетической наследственностью, а культурной.

Культурная наследственность составляет исключительную способность нашего вида *homo sapiens*. Каждый другой вид животных имеет в своем генофонде все необходимое для своего существования, в том числе генетически закрепленные способы воспитания потомства. Человек же не может быть человеком без особого воспитания, содержание которого не предусмотрено геномом, а передается из поколения в поколение в виде «традиции». В частности, традиция содержит язык: человек рождается со способностью к усвоению языка, но без знания языка и без способности учить языку своих потомков. То и другое должно быть усвоено от воспитателей. Удивительный факт представляет собой разнообразие языков и, следовательно, культурных традиций. Человек, по определению, должен владеть языком, то есть принадлежать некоторой культуре; но какой культуре он будет принадлежать, зависит от его воспитания (и, тем самым, от случайности его рождения). Понятно, почему человека называют, по выражению философа А. Гелена, «культурным существом» (*ein Kulturwesen*): вне культуры он просто не существует. Культура, передаваемая традицией, содержит много других предметов воспитания, но самым главным из них является язык, которому учатся очень рано. Впрочем, на основе одного и того же языка могут развиваться и разные культуры, как, например, английская и американская.

При всех различиях человеческих культур, это формы существования одного и того же вида, генетическая наследственность которого определилась задолго до образования этих культур и, как уже было сказано, мало изменилась с тех пор. Следовательно, культурная традиция налагается на одну и ту же систему инстинктов; а поскольку развитие культуры происходит несравненно быстрее эволюции генома, возникло чрезвычайное разнообразие культурных традиций и, в частности, традиций поведения. Но более глубокое изучение человеческого поведения показало, что в основе его лежат одни и те же, присущие нашему виду инстинкты. Отсюда и происходит единство этических и правовых понятий, позволяющее людям разных культур вообще понимать друг друга. Около 500-го года до нашей эры был открыт величайший в истории человечества этический принцип:

«Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе».

Его высказали, почти в одинаковых словах и независимо друг от друга, три человека: индийский принц Сиддхартха Гаутама, прозванный Буддой, китайский философ Кун-Цзы, называемый в Европе Конфуцием, и еврейский раввин Гиллель.

Культурная наследственность может придать разную форму проявлению человеческих инстинктов, но не может их подавить. Конечно, три отличительных свойства нашего вида – гиперэнергетичность, гиперсексуальность и гиперагрессивность – проявляются во всех культурах, но ограничиваются культурной традицией. Например, агрессивность ограничивается по отношению к членам собственной культуры, хотя и поощряется по отношению к некоторой другой.

Теперь мы можем сформулировать основную биологическую гипотезу, лежащую в основе нашего исследования:

Поведением, направленным на пользу своего племени и наблюдаемым во всех человеческих племенах, управляет общевидовой инстинкт [36].

Как уже было сказано, этот инстинкт был выработан, по-видимому, под селекционным давлением группового отбора на основе более древних инстинктивных форм поведения, существовавших еще в стадах дочеловеческих гоминид. Мы не знаем, каким образом эти первоначальные группы расширились или слились в более многочисленные племена, члены которых уже не могли близко знать друг друга. В условиях жесточайшей конкуренции племен победить могло лишь многочисленное племя, сохранившее сплоченность первоначальной группы. Члены «своего» племени рассматривались как «братья», что отразилось в ряде языков; более того, они считались «людьми по преимуществу» так что во многих примитивных языках название собственного племени означало просто «люди». Конечно, такой подход не способствовал установлению «братских» отношений между племенами. Даже на более высокой ступени развития греки называли все другие народы «варварами», от звукоподражания «бар-бар», имитирующего бессмысленную речь; славяне же, вероятно, произвели свое имя от «слова», то есть подчеркивали, что наделены даром речи, а неспособных к осмысленной речи называли «немцами».

Как известно, все высшие эмоции, начиная с узнавания индивида до любви и дружбы, произошли от инстинкта «внутривидовой агрессии» в ходе естественного отбора; отбирались наиболее приспособленные индивиды, по известной схеме Дарвина, причем первоначальной функцией инстинкта была защита охотничьего участка. Это был, следовательно, «индивидуальный» отбор, происходивший у всех хищников, то есть животных, питавшихся животной пищей. Только у хищников и возникли высшие эмоции, что может показаться парадоксом философу без биологического подхода: из «ненависти» к особям своего вида удивительным образом произошла «любовь». Надо заметить, что «ненависть» к особям своего вида у не-человеческих хищников приводит лишь к изгнанию слабейшего соперника с охотничьего участка, но в нормальных условиях не ведет к его убийству.

Гораздо хуже изучены процессы группового отбора, приводящие к выживанию наиболее приспособленных групп. Можно предположить, что инстинкты взаимопомощи и сотрудничества, описанные выше, выработаны групповым отбором. По-видимому, у не-человеческих животных это был отбор в обычном смысле, то есть неприспособленные группы вымирали от голода или давали мало потомства, но вовсе не истреблялись другими группами своего вида: убийство собратьев по виду есть исключительное свойство человека. Групповой отбор, выработавший внутриплеменную сплоченность, сопровождался совершенно исключительным явлением – истреблением «неприспособленных» племен в ходе нескончаемых войн; этот отбор в то же время чрезвычайно усилил внутривидовую агрессивность, о чем уже была речь. Распространение отношений внутри «малой» группы на «большое» племя было первым этапом глобализации норм поведения. Ясно, что этот процесс мог произойти только благодаря генетической наследственности, поскольку культурная наследственность, способствующая образованию отдельных культур, неизбежно ведет к дивергенции признаков, вполне аналогичной дивергенции признаков в процессе образования видов (и это подтверждается сравнением первобытных культур), между тем как запреты и обязанности по отношению к членам своего племени по существу одни и те же во всех племенах. Точно так же, как повышенная агрессивность, снявшая у человека запрет убийства членов собственного вида и породившая воинственность по отношению к другим племенам, эта система запретов и обязанностей внутри племени должна обеспечиваться открытой наследственной программой: это значит, что способность обучения такому поведению наследуется генетически, но подлежащий обучению материал передается культурной традицией. Если это покажется вам невероятным, вспомните, как человек обучается языку. Точно так же, специфические формы поведения внутри племени столь разнообразны, что лежащее в их основе фундаментальное единство было установлено лишь специальными исследованиями.

Итак, предложенная выше основная гипотеза может быть уточнена следующим образом:

Сплоченность племени обеспечивается открытой генетической программой.

Правила поведения, составляющие эту сплоченность, произвели в свое время сильное впечатление на европейских путешественников, сравнивавших отношения внутри племени «дикарей» с образом жизни собственной нации. В XVIII веке возник даже культ «благородного дикаря», живущего в соответствии с «законом природы», в гармоническом единстве со своими соплеменниками; в наше время можно видеть некоторый рецидив этого культа среди части интеллектуалов, отчаявшихся в современной цивилизации. Но сплоченность первобытного племени – нечто непохожее на идеалы этих радикалов, ценящих выше всего личную свободу. Напротив, жизнь дикаря крайне несвободна; она предельно подчинена интересам племени и при ближайшем рассмотрении отталкивает современного человека своим жестким «коллективизмом». Этот коллективизм был неизбежен даже в далеко не примитивных

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
городах-государствах древней Греции; современному человеку жилось бы очень несвободно не только в Спарте, но даже в Афинах. Попытки возродить племенную сплоченность во всей ее грубой принудительности, вместе с безудержной агрессивностью к «инородцам», проявились в регрессивной патологии современной культуры, получившей название «фашизма». По-видимому, биологическая основа фашистской идеологии не была должным образом изучена, и на первый план были выдвинуты социальные мотивы – сами по себе очень важные.

\*\*\*

Патология поведения часто происходит от выпадения некоторого инстинкта. Прочнее всего древнейшие инстинкты, общие всем высокоорганизованным животным; более «молодые» инстинкты хрупки, и в особенности – специфически присущие человеку. «Асоциальное» поведение, то есть уклонение от обязанностей по отношению к группе, доставляет индивиду несомненные преимущества, и можно было бы ожидать, что такое поведение, опасное для группы, вызвало бы санкции со стороны других, «законопослушных» членов общества. Вероятно, таких «паразитов» слишком мало, чтобы возникло селекционное давление в направлении их «устранения» [37]. Но в человеческом обществе, где инстинкты общественной жизни молоды и особенно хрупки, можно представить себе возникновение таких санкций. И в самом деле, «асоциальное» поведение наказывается во всех примитивных племенах.

В число неизменно осуждаемых нарушений общественной морали включаются как раз те виды поведения, которые профессор Хайек считает характерными для преуспевающего дельца: член племени не должен скрывать от своих собратьев обнаруженные им природные ресурсы – еду, материалы и удобные места; не должен извлекать особую выгоду из своих социальных навыков и способностей; не должен копить имущество с целью выгодного обмена. Иначе говоря, индивид, случайно или намеренно занявший выгодное положение по отношению к другим членам племени, не может пользоваться преимуществами этого положения, а должен делиться ими со всем племенем. Правила средневековых цехов сохраняли эти моральные представления первобытных племен.

Неизвестные великие изобретатели не брали патентов на лук и стрелы, на колесо или гончарный круг; они попросту предоставляли всем желающим пользоваться своими открытиями и научили этому членов своего племени, а потом этому научились и другие племена. В наше время такой подход редок. Изобретатель радио Александр Степанович Попов опубликовал свое открытие в научном журнале и не пытался извлечь из него выгоду; другой человек, Маркони, получил на него патент и отстаивал свой приоритет. Но великие изобретения редки. Чаще всего человек пытается извлечь выгоду из какого-нибудь мелкого преимущества, кого-нибудь перехитрить или обмануть. Это как раз те способы поведения, которые осуждаются и наказываются племенной моралью. Первоначальные «моральные правила» были очень далеки от тех, о которых говорит профессор Хайек. Эти древние правила были основаны на социальном инстинкте, создавшем сплоченность племени, – инстинкте, выработанном групповым отбором в течение долгих тысячелетий и вместе с другими инстинктами наших предков неотделимом от природы человека.

Отвращение к «асоциальным паразитам» непобедимо, потому что оно элементарно. Каждый раз, когда группа людей видит человека, уклоняющегося от общественно необходимого дела, чтобы извлечь какую-нибудь выгоду только для себя, такое поведение вызывает инстинктивную реакцию отвержения и осуждения «паразита». Эта реакция особенно очевидна в случаях общественного бедствия: военной опасности, голода, внутренних неурядиц. В «нормальных» ситуациях она слабее, но никогда не исчезает, поскольку сохраняется поддерживающий ее социальный инстинкт. У древних греков гражданин, уклонявшийся от участия в народном собрании, проявляя тем самым пренебрежение к общественным делам, мог быть лишен некоторых привилегий; а уклонение от военной службы было просто невысказано и каралось как государственная измена. Но и в самые мирные времена вражда между бедными и богатыми – выражаясь современным термином, «классовая борьба» – составляла лейтмотив греческой истории. Те же явления мы встречаем и в истории средних веков, и в истории Нового времени – вплоть до наших дней. Если отчетливая формулировка понятий «общественных классов» и «классовой борьбы» принадлежит Марксу, то соответствующие социальные факты стары, как мир: о них повествуют египетские папирусы, история Фукидида и средневековые хроники.

Действие инстинкта социальной сплоченности, или социальной солидарности, проявляющееся в отвращении и ненависти к «богатым», сохраняется, таким образом, и тогда, когда племена объединяются в государства. Но при этом вряд ли возникают новые инстинктивные формы

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

поведения. Для этого история государств – то есть «история» в ее обычном школьном смысле слова – составляет слишком малый промежуток времени, и действие группового отбора на столь большие, разнородные популяции очень сомнительно. История есть поле действия культурной традиции, опирающейся на генетически заданную систему поведения, которую на протяжении очень коротких в биологическом смысле периодов времени, составляющих историю, можно считать неизменной. Это по-видимому, хорошее приближение к действительности, хотя естественный отбор в дарвиновом смысле и даже групповой отбор (которому препятствует перемешивание населения), продолжают свою медленную работу и в наши дни.

Переход от племени к государству потребовал дальнейшей глобализации правил социального поведения: теперь система запретов и обязанностей была перенесена с коллектива в несколько сот или несколько тысяч человек, относительно однородного по происхождению, языку и обычаям, на огромные массы людей, объединенных – во всяком случае вначале – только силой завоевателей. Эта вторая глобализация, никоим образом не завершенная до нашего времени, уже больше двух тысяч лет развивается одновременно с третьей, направленной на все человечество [38].

Важно заметить, что механизм инстинкта социальной сплоченности действует только локально, по отношению к ближайшему окружению индивида. Это значит, что эмоции человека и его прямые реакции вызываются главным образом его ближайшим окружением и в очень небольшой степени (и ненадолго) далекими от него и абстрактными условиями общественной жизни. Инстинкт внутривидовой агрессии, преобразованный групповым отбором в межплеменную вражду, с трудом поддается глобализации до «патриотической» ненависти к другим народам. Два памятных примера еще у всех на глазах. В начале последней войны с Германией Сталин пытался перестроить советскую идеологию в националистическом духе, подражая Гитлеру; повсюду были развешены плакаты с замечательным по простоте призывом: «Убей немца». Эта пропаганда слабо действовала на русский народ, мало знакомый с немцами (и вряд ли подготовленный к такой перемене курса десятилетиями «пролетарского интернационализма»). Только поведение нацистов на оккупированных территориях в конце концов разогрело тлеющие уголья шовинизма и в какой-то мере поставило его на службу сталинской политике. Немцы не были для русских «соседями», как для чехов и поляков. После войны советская пропаганда в течение сорока лет была направлена против американцев, которые находились вне всякого личного опыта русских; пропаганда эта замечательным образом провалилась; более того, американские товары и кинофильмы вызвали у русских непреодолимое влечение к образу жизни, вряд ли заслуживающему подражания.

Напротив, при близком контакте инстинктивное недоверие и отвращение к «чужому», некогда выработанное групповым отбором, сразу же приводится в действие, но вместе с ним вступают в силу и другие инстинкты, корректирующие инстинкт внутривидовой агрессии и сдерживающие нападение на «чужих». И, разумеется, в ряде случаев вступает в игру еще страх, то есть инстинкт самосохранения. Поэтому так трудно было предвидеть реакцию аборигенов на поведение «белых» мореплавателей: решение принималось, по выражению Лоренца, в «великом парламенте инстинктов» – если только аборигены не обладали достаточно высокой культурой, содержащей правила обращения с «чужими» людьми.

Аналогично обстоит дело с инстинктами «социальной справедливости», реагирующими на «асоциального паразита». Не вдаваясь пока в общее обсуждение «социальной справедливости», заметим, что люди физического труда проявляют инстинктивное отвращение к индивиду, уклоняющемуся от такого труда; это отвращение есть прямая реакция, направленная на «устранение асоциальных паразитов», и в первобытном племени, где коллективный труд важен для благосостояния всего сообщества, оно приводит к суровым санкциям. Разумеется, уже в первобытном племени действуют и культурные ограничения, охраняющие вождя или жреца. Но когда в более сложном обществе внезапно рушится система культурных ограничений, «классовая ненависть» людей физического труда ко всем, кто не работает руками, проявляется с ужасной силой. Во время русской революции и последовавшей за ней гражданской войны ненависть «простого народа» обратилась против «бар» и «буржуев», то есть против сословий, не работающих руками. Их внешними признаками были белые руки без мозолей (есть русское слово «белоручка» означающее «бездельник»), грамотная речь, господская одежда, особенно шляпы и галстуки, и даже такая невинная вещь, как очки: носивших очки называли презрительным словом «очкарик» и могли при случае побить и даже расстрелять. Конечно, русские «марксисты» усматривали здесь ошибочные проявления классовой ненависти, выводя ее из «прибавочной стоимости»; но вряд ли в то время можно было не заметить этот биологический факт во всей его элементарной простоте. Любая революция с достаточно выраженным социальным характером – например,

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) французская – доставляет такие же факты; и, конечно, «революционеры», использующие и поощряющие культурную регрессию, выносят себе этим моральный приговор. Якобинцы и большевики не могли достигнуть никаких высоких целей, используя низменные средства. В этом отношении культурная эволюция резко отличается от генетической, эффективность которой не ограничена «моральными» понятиями популяций.

Мне скажут, что я упрощаю сложное социальное явление, сводя его к биологии; что я применяю сомнительный термин «инстинкт», которым слишком часто злоупотребляли в прозо в определенном таким образом смысле, могу не беспокоиться о тех, кто использовал его иначе [Под инстинктом я понимаю то, что О. Гейнрот назвал «свойственным виду импульсивным действием» (*arteigene Triebhandlung*)]. Если запрещать слова, которыми кто-нибудь злоупотреблял, то у нас скоро не останется способов выражать свои мысли.]. Биологическую составляющую человеческого поведения слишком часто недооценивали с тех пор, как «социал-дарвинизм» скомпрометировал себя в глазах публики, став идейной опорой различных ретроградных партий. Но, конечно, Дарвин здесь был ни при чем, а биология человека заслуживает изучения. Кстати, в Соединенных Штатах тот же инстинкт, несомненно, лежит в основе ненависти «среднего класса» к бедным людям, пользующимся программами welfare (социального обеспечения). В этом случае люди, чаще всего не занимающиеся физическим трудом, клеймят как «паразитов» тех, кто не может (или не хочет) найти физическую работу. Можно заметить, что «критика» этих программ, и в самом деле весьма заслуживающих критики, вовсе не рациональна, так как эти программы охраняют «средний класс» от агрессии обитателей гетто. Там, где эмоции явно расходятся с интересами людей, не следует отворачиваться от биологии.

## 17. Еще о понятии «социальной справедливости»

Теперь мы попытаемся определить, какой смысл вкладывается в выражение «социальная справедливость». Ясно, что его смысл зависит от ценностей, принимаемых тем, кто употребляет это выражение; имеется в виду такой общественный строй, который кажется говорящему «справедливым», то есть соответствующим его ценностям. Легко отделаться от «социальной справедливости», объявив это представление субъективным, а его использование демагогией. Но если какое-нибудь выражение постоянно повторяется в общественном обиходе и несомненно участвует в организации мышления людей, то следует присмотреться к работнику физического труда начала XIX века, когда зародился «социализм». Само собою разумеется, его точка зрения передается в обобщенном и литературно обработанном виде: сам он использовал бы не столь вежливые слова. Кроме того, мы передаем эту точку зрения в отрицательном ключе: обычно люди не формулируют, что такое «справедливость», а указывают на явления, которые кажутся им «несправедливыми». Как же труженик начала прошлого века воспринимал свою жизнь и жизнь своих господ?

«Мы работаем с раннего утра до позднего вечера, почти без отдыха, и это несправедливо. Наши отцы и деды были крестьяне, и они работали не так. Они напряженно трудились во время страды, но в другое время работали умеренно, по несколько часов в день и с перерывами. Их работа была осмысленной. Она была связана с понятными хозяйственными делами. Она не была монотонной и механической. Они работали на самих себя, даже если вносили арендную плату. Мы же не видим смысла в своей работе. Ее конечный продукт, которого мы чаще всего не знаем, используют другие. Наши предки работали под открытым небом, дышали чистым воздухом, ели простую, но свежую пищу. Мы всего этого лишены. Человек не создан для такой работы: это не человеческая жизнь».

Мы чувствуем себя придатком машины. Машина задает темп и ритм нашей работы, как будто она господин, а мы должны ей служить. Так не должно быть. Орудия должны быть приспособлены к человеку, а не человек к орудиям. Орудия должны быть понятны человеку, а мы не понимаем, как устроены машины. Мы не верим, когда нам говорят, что машины облегчают человеческий труд. Когда не было машин, жизнь была легче и приятнее. Может быть, лучше было бы уничтожить все машины: они придуманы не для нас.

Если кто-нибудь извлекает пользу из нашего труда, то, конечно, наш хозяин. Никто не видел, чтобы он когда-нибудь работал. А в писании сказано: «кто не работает, пусть не ест». Хозяин, должно быть, от роду не знал, что значит трудиться. Мы можем понять, что трудится механик, мистер Смит: он

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
возится с проклятыми машинами, у него руки в мозолях. Он вымазан маслом, сажей, от него пахнет потом. Какую-то работу делает, может быть, и бухгалтер Скриблер, он составляет бумаги, по которым нам платят и берут с нас штрафы, но это скверная работа. Что касается хозяина, то он всегда ходит в нарядном костюме и с тросточкой. Все видели его экипаж, все знают, как наряжаются его жена и дочь. Откуда у них все это богатство? Очень просто: они продают то, что мы делаем на фабрике. Продают по настоящей цене, уж они-то, фабриканты, не дадут себя обмануть; а платят нам так, что придется послать на работу и малыша Джека, когда ему исполнится шесть лет. В пять лет хозяин не берет – говорит, только ревет и просят к маме.

Все дело в том, что нам некуда податься. Ведь все фабрики принадлежат им. Чуть что скажешь, уволят, а за воротами стоят готовые на твое место. Мы думаем, что все это – несправедливо. Хозяин и его служащие – наши угнетатели и враги».

Безусловно враждебная установка рабочих по отношению к своим хозяевам была очевидна. Роберт Оуэн, ставший директором, а затем совладельцем фабрики в Нью-Ленарке и пытавшийся улучшить положение своих рабочих, столкнулся с их упорным недоверием. Вот как он рассказывает об этом:

«Надо заметить, что шотландские крестьяне и рабочие отличаются хорошей наблюдательностью и умением делать остроумные выводы. В данном случае рабочие естественно заключили, что новые покупатели имеют целью извлечь как можно больше выгоды из этого предприятия<...>.

В течение двух лет директор (Р. Оуэн) вел настоящую войну с предрассудками, с дурными привычками и поступками населения; но за это время он не сделал почти ничего и даже не мог убедить их в том, что он искренне желает улучшить их судьбу» [предусмотрено геномом, а передается из поколения в поколение в виде «традиции». В частности, традиция содержит язык: человек рождается со способностью к усвоению языка, но без знания языка и без способности учить языку своих потомков. То и другое должно быть усвоено от воспитателей. Удивительный факт представляет собой Р. Оуэн, «Образование характера» (1817). Настоящее название этой работы – «Новый взгляд на общество» (“A New View of Society”). В советское двухтомное издание собраний сочинений Оуэна она не включена. Цитируется по русскому переводу 1909 г.] .

Если таково было отношение к реформатору, посвятившему свою жизнь улучшению жизни рабочих, то можно себе представить «классовую ненависть» к обычным капиталистамчине этой грустной главы истории капитализма, напомним, что величайшие, самые пронизательные писатели той эпохи неизменно поддерживали возмущение бедных против богатых. Мы привели уже красноречивое стихотворение Шелли, а теперь дословно переведем стихотворение Генриха Гейне «Силезские ткачи», написанное сразу после восстания этих ткачей в 1844 году:

В мрачных глазах ни слезы,  
Они сидят за станком и скрежещут зубами:  
Германия, мы ткем твой саван,  
Мы вплетаем в него тройное проклятие –  
Мы ткем, мы ткем!  
Проклятие богу, которому мы молились  
В зимние холода и в голодное время;  
Напрасно мы надеялись и ждали,  
Он насмеялся, обманул, одурачил нас –  
Мы ткем, мы ткем!  
Проклятие королю, королю богатых,  
Который не смог облегчить нашу нужду,  
Который выжимает из нас последний грош  
И велит расстреливать нас, как собак, –  
Мы ткем, мы ткем!  
Проклятие лживому отечеству,  
Где процветают лишь позор и бесчестье,  
Где рано надламывается каждый цветок,  
Где гниль и затхлость услаждают червей –  
Мы ткем, мы ткем!  
Челнок мелькает, станок трещит,  
Мы усердно ткем весь день и всю ночь –  
Старая Германия, мы ткем твой саван,  
Мы вплетаем в него тройное проклятие,  
Мы ткем, мы ткем!

Как мы уже видели в начале этой работы, отвращение к социальной несправедливости, породившее социалистическое движение, все еще живо в западной интеллигенции. Теперь мы должны исследовать, вызвано ли это негодование действительным нарушением ценностей нашей культуры, можно ли



Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
пожертвовать этими ценностями ради экономических выгод и, наконец, – если мы не хотим принести их в жертву, то что можно сделать, чтобы их защитить.

\*\*\*

Но сначала послушаем, что могут сказать об этом апологеты капитализма. Представим себе, что профессор Хайек изложил бы свои мысли откровенно, а не в виде старательно прилизанной рекламы капитализма. Тогда он раскрыл бы беглые намеки, касающиеся неприятных вопросов, и восстановил бы кое-что осторожно обойденное. Я представляю себе профессора в кругу своих друзей и единомышленников и вкладываю в его уста те мысли, которые можно угадать при чтении его книги:

«По правде говоря, мой опыт изучения человеческих учреждений сделал меня пессимистом. Еще в юности я понял, что сложные системы – такие, как живой организм или человеческое общество, – не поддаются причинному исследованию, наподобие того, как делается в физике и астрономии. Старые экономисты шли, в сущности, по этому пути: они пытались теоретически предсказать образование цен и придумали бесполезные “теории стоимости”. Но постепенно в нашей австрийской школе пришли к пониманию того, что цены зависят от слишком большого числа факторов, чтобы их можно было изучить и учесть. Некоторые из них к тому же субъективны и изменчивы, наподобие моды, определяющей спрос; конечно, и мода имеет свои причины, но в конечном счете оказывается, что для вычисления цен надо было бы знать чуть ли не все обо всех людях, населяющих эту планету. Сложные системы в принципе подчиняются законам природы, но это не позволяет нам предсказать их поведение, потому что мы не можем достаточно точно знать все нужные данные – которых слишком уж много, – а если бы и знали, то вычисления превзошли бы человеческие силы. Да, теперь все это знают, но когда я начинал мою работу, эту “непредсказуемость” сложных систем только начинали осознавать; и я могу похвалиться, что был одним из первых, кто ее осознал.

Поэтому мы отказались от предсказания и вычисления цен. Цены, и все рыночное хозяйство, – это саморегулирующийся механизм, столь же эффективный, как живой организм, и столь же мало поддающийся количественному изучению. Первый, кто понял, что такое рынок, был Адам Смит. Он поразился действию этого механизма, оптимизирующего без нашего участия сложнейшие экономические процессы, и воспел это чудо природы. Правда, он все еще надеялся найти ключ к причинному объяснению рыночного хозяйства – как надеялись после него Рикардо и Маркс. Мы стали скромнее. Мы ведь поняли, что такое сложные системы.

Поскольку поведение сложных систем непредсказуемо, их нельзя планировать. Опять же, я был одним из первых, кто это понял, – еще в тридцатые годы я написал об этом книгу. Я шел тогда против течения: вся “прогрессивная” интеллигенция была в восторге от советских пятилеток. Но я знал, что нельзя “управлять” сложной системой. Когда пытаются действовать на нее силой, возникают неожиданные явления, осложняющие ход событий и после первых успехов сводящие все сделанное на нет. Впрочем, одно из этих явлений можно было эмпирически предсказать: возникновение чудовищно неэффективной и дорогостоящей бюрократии. Друзья мои, сразу же после гражданской войны в Сверили, и мне пришлось этой премии долго ждать.

Адам Смит оказался прав: рынок должен творить чудеса, и эффективным оказался все-таки капитализм. После всех кризисов и революций он, кажется, идет к стабилизации. Собственно, моя книга о заблуждениях социалистов изображает капитализм в уже стабилизированном виде, несколько забегаая вперед. Капитализм – это экономическая и политическая система, работающая по правилам. Я называю их в книге “моральными правилами”, но дело тут совсем не в морали, а в безличном действии этих правил, то есть в соблюдении законов. Только там, где соблюдаются законы, может быть свобода и, в частности, свободный рынок. Интеллигенты не понимают этой связи: они дорожат личной свободой, но хотели бы контролировать экономическую жизнь. Я подчеркиваю в моей книге, что гражданской свободы никогда не было до капитализма: это его великое достижение, наряду с созданием неслыханного прежде благосостояния.

Рабочие не должны жаловаться на капитализм. Они никогда в истории не пользовались такими благами, как сейчас. И, в сущности, им ничего и не надо, кроме материального благополучия и кое-каких развлечений. Чего всегда требовала чернь? *panem et circenses!* [Хлеба и зрелищ (лат.)] – обычное требование римской бедноты в эпоху империи. Надо сознаться, что из их благополучия ничего интересного не проистекает. Шведские социал-демократы дали своим рабочим всевозможные блага, в том числе шестинедельный оплачиваемый отпуск. И что же? Думаете, это стимулировало их духовное развитие? Я видел их в Остии на пляже, они загорали, и им не приходило в

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
голову посмотреть Рим. Сытая чернь спокойна и не опасна. Конечно, вы спросите о будущем нашей культуры, но ведь я – только экономист, мое дело – обеспечить стабильность. Мой друг Поппер думает, что можно будет все-таки проводить частичные реформы, он называет это *piecemeal engineering* [кусочная технология (англ.)]. Ему виднее, он философ. Но я доволен и тем, что у нас на Западе установилось, как кажется, свободное общество. Насколько прочное, по правде говоря, я не знаю: все зависит от соблюдения “моральных правил”. И я должен сознаться, что это меня беспокоит.

Что заставляет людей соблюдать законы? Я не скрываю в моей книге, что законы – это не просто правила, оптимизирующие экономическую игру. Если бы это было так, то можно было бы надеяться раз навсегда установить такие правила и обеспечить стабильное общество, пока оно не надоест. Но увы, наши “моральные правила” – то есть законы, потому что при капитализме “мораль” формулируют юристы – несут в себе всю свою темную историю. Они связаны с “ценностями”, то есть с традиционным пониманием добра и зла, идущим от наших примитивных предков, с обычаями, сложившимися в первобытной орде. Да, я называю это гипотетическое сообщество ордой, а не племенем, как говорят другие. Я неважный антрополог, и дикари мне не внушают симпатии. Их “моральные правила” возникли в очень узком обществе, а теперь у нас совсем другой, “расширенный” порядок. Я подчеркиваю этим, что непосредственные отношения между людьми, какие были в первобытной орде, в современном обществе невозможны. “Правила” приходится соблюдать по отношению к незнакомым людям, не вызывающим у нас эмоций. Но в их основе остается некоторая ценностная подкладка, нечто архаическое и уже ненужное, что и заставляет прибавлять к существительному “правила” прилагательное “моральные”. Вы заметили, конечно, что это прилагательное – чужеродное выражение в моей системе.

Но ведь и мы сами – потомки дикарей. Люди никак не могут избавиться от морализирования, вместо того, чтобы просто соблюдать правила. Эти правила обеспечивают им приличное существование: материальное благополучие, какого не знали их предки, и свободу, которую впервые принес капитализм. Конечно, это общество несовершенно, даже очень несовершенно. Но после всех ужасов нацизма и коммунизма, которые я повидал на своем веку, каким благом кажется этот современный капитализм! Мы ведь все согласны с тем, что идеального общества не может быть, в этом мы все пессимисты. Надо довольствоваться неким приемлемым компромиссом и, слава Богу, история каким-то образом, после всех кризисов и революций, устроила этот компромисс. Люди настаивают на том, чтобы “мораль” принималась всерьез, и указывают на капиталистов, как на асоциальных паразитов. Конечно, те, кто управляет предприятиями и банками, не руководствуются моралью, а преследуют собственные выгоды. Это можно прочесть и в моей книге: я признаю, что предприниматель должен быть хитерен и хитер, хотя и не подчеркиваю эти его свойства. Да, но ведь эти несимпатичные господа выполняют важную функцию в нашем обществе: если оно построено на конкуренции, то никак нельзя обойтись без хитрецов, обманывающих друг друга, да и публику вообще. Конкуренция – не моральное занятие. Хорошо, если они соблюдают законы, а если нет, то наличие законов удерживает их в каких-то рамках, не правда ли? Разве не всегда было так – в этом несовершенно мире? Система устроена таким образом, что хитрецы получают особое вознаграждение за качества, как раз не одобряемые традиционной моралью. Это и есть “социальная несправедливость”, с которой борются социалисты. Но эта система работает, а их система провалилась. Мы, экономисты, не можем как следует объяснить, почему она работает, но раз она держится на конкуренции, то приходится допустить и сопутствующий ей паразитизм. Чтобы не лить воду на мельницу социалистов, я не называю капиталистов паразитами. Они едва ли “работают” в обычном смысле, но выполняют функцию, неизбежную при таком устройстве общества, а другого эффективного устройства мы не знаем. Поэтому назовем их “организаторами производства”: они выполняют свою функцию, а если их устранить, то производство развалится. Вспомните, что получилось у большевиков! Опыт говорит, что опасно трогать собственников. Стоит только задеть их интересы, даже так мягко, как это сделали французские социалисты, – и начинается “бегство капитала”, падение курса на бирже. Если уж мы не понимаем как следует действие этой машины, научимся ее, по крайней мере, беречь. Вы находите, что за такую мудрость не стоит давать Нобелевские премии? Но ведь их дают консерваторы, и все дело в том, как лучше представить публике их консерватизм. Как видите, я немножко циник, как все пессимисты.

Давайте посмотрим на “моральные правила” следующим образом. Вся система права построена на полезных фикциях. Даже главная основа гражданского общества – равенство граждан перед законом – не что иное, как полезная фикция: люди очевидным образом не равны друг другу, и нельзя всерьез возлагать на них одинаковую ответственность за их поступки. Законы – это

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
продукты эволюции, в начале которой были “моральные правила” первобытной орды. Теперь они превратились в полезные фикции, и ссылаться на их “моральное” содержание, по меньшей мере, наивно. Достаточно того, что они полезны: общество с такими законами – наилучшее, какое нам известно. Ведь и мы сами – потомки дикарей, как наши законы – потомки их первобытной морали. Нельзя же вечно возвращаться к этому прошлому!

Эволюция создала эту большую машину, составленную из людей, как гоббсов Левиафан. В первом издании его книги была картинка, изображающая гиганта, сложенного, как из кирпичиков, из человеческих тел. Что же, может быть, это и будет конечный итог истории? Люди будут жить в этой машине, как пчелы и муравьи, которые, по-видимому, счастливы, потому что им ничего не надо менять.

Но, кажется, мой крайний индивидуализм привел меня каким-то образом к коллективизму. Надо посоветоваться с философом. В конце концов, я ведь только экономист».

## 18. Главная ошибка Хайека

Книга профессора Хайека, которую я позволил себе резюмировать, была задумана как итог всей его жизни и работы; увы, автор подчинил ее требованиям того самого рыночного хозяйства, которое он восхваляет, пожертвовав «потребительской стоимостью» своего товара ради «меновой». Я попытался восстановить его подлинные мысли и, как мне кажется, сделал это добросовестно, не впадая в карикатуру. Только в самом конце я приписал Хайеку наблюдение, которое, может быть, никогда не приходило ему в голову; все остальное либо содержится в его книге, хотя бы в виде намеков, либо непосредственно вытекает из его установок.

Главная ошибка Хайека состоит в том, что он не принимает во внимание природу человека. Человек как живое существо наделен наследственными задатками. Генетическая наследственность человека – его система инстинктов – составляет ту неизменную основу, на которой должны строиться все теории его социального поведения, в том числе теории рыночной экономики. Я вовсе не хочу этим сказать, что человеческое общество можно объяснить из одних только биологических факторов; но игнорировать их нельзя. Точно так же нельзя игнорировать законы физики, пытаясь понять поведение животного; пользуясь выражением Лоренца, исследование на любом уровне интеграции не сводится к явлениям, принадлежащим низшим уровням, но должно принимать их в расчет. Социальные механизмы работают на более высоком, чем биологический, уровне интеграции, но не могут противоречить закономерностям биологии. Уровни интеграции и отношения между ними были описаны еще задолго до заключительной книги Лоренца берлинским философом Николаем Гартманом под именем «слоев реального бытия». Если биологические идеи были недоступны Хайеку, то с гносеологией Гартмана он мог познакомиться на языке немецкой классической философии, несомненно входившем в его культурную подготовку. Пренебрежение биологией человека можно объяснить общеизвестной историей философских взглядов, определявших общественное мышление Нового времени. Мышление это, не находя прочной опоры в естествознании, металось из одной крайности в другую.

## 19. четыре периода развития общественного мышления Нового времени

В первом периоде, начиная со знаменитой лекции А. Тюрго (1750), мышление об обществе принимало за образец механику Ньютона, и может быть потому названо «механистическим». Социологи того времени не сомневались, что законы общественной жизни могут быть поняты в том же детерминистском духе, что будущее поведение человеческих коллективов можно будет предсказывать, как астрономы предсказывают движение светил; и эта вера наполняла умы этих людей безграничным оптимизмом, поскольку предсказуемым будущим надеялись управлять. Представителями этого «механистического»

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) мышления были Сен-Симон и Конт. К нему следует отнести и Маркса, который в своих экономических и исторических исследованиях всегда пытался быть строгим детерминистом. Более поздние концепции социологии не оказали на него существенного влияния.

Во втором периоде, начиная с дарвинова «Происхождения видов» (1859), социологи руководствовались идеями эволюции и естественного отбора. Этот период можно назвать «биологическим», в довольно примитивном смысле этого слова, поскольку надеялись полностью объяснить общественную жизнь дарвиновой схемой «борьбы за существование». Отсюда произошел «социал-дарвинизм», первым представителем которого был Г. Спенсер (пришедший к идее «борьбы за существование» (struggle for life) еще раньше Дарвина и придумавший это неудачное выражение, перенятое затем Дарвином). Достаточно банальная философия Спенсера оказала влияние на широкую публику; но особенно вредной была доктрина биолога Э. Геккеля, прямо перенесшего «борьбу за существование» в человеческую историю, где он усматривал борьбу «высших» и «низших» рас. Дарвин никогда не опускался до подобных гипотез и никак не участвовал в пропаганде «социал-дарвинистов»; но их брошюры усердно читал начинающий «социолог» А. Гитлер.

Третий период, «психологический», начинается с работ Фрейда, то есть с 90-х годов прошлого века. Открытие «подсознания», определяющего «нерациональное» поведение человека, оказало огромное влияние на человеческое мышление вообще; но фантастические построения Фрейда и его учеников скомпрометировали попытки психоаналитического объяснения общества и истории. Наиболее интересную попытку построить социальную психологию предпринял Э. Фромм (1941) [39]. Четвертый период, продолжающийся до наших дней, можно назвать «кибернетическим». Начало его было положено работами математика Н. Винера, разработавшего идеи обратной связи и регулирующего цикла и параллельно исследовавшего саморегулирующиеся системы в технике и в физиологии. С самого начала этих исследований (с 1949 года) Винер предполагал, что нашел руководящие принципы для создания «теоретической биологии». Но его надежда оправдалась не сразу, так как биологи медленно усваивали кибернетические идеи. На более простом материале их быстро освоили инженеры, и кибернетика надолго стала «технической наукой». К ее кругу понятий прибавилась теория информации, созданная Винером и К. Шенноном, инженером-связистом. Тогда же, с конца сороковых годов, начались преждевременные и поверхностные попытки перенесения методов «технической кибернетики» в социальные науки. Для этих попыток характерно стремление перейти прямо к «системам», пытаясь выделить в изучаемой системе ее подсистемы и описать схему отношений между ними. Как правило, эта деятельность сводилась к составлению «блок-схем», состоящих из прямоугольников с надписями в них и стрелок, соединяющих прямоугольники. В общем, такая «кибернетическая социология» осталась бесплодной, но вовсе не потому, что идеи кибернетики не имеют значения для социальных наук. Значение их еще недостаточно понято, потому что социологи пытались «пропустить» биологический уровень интеграции, лежащий между физическим и социальным. Но только биология может доставить модели, достаточно сложные и органически связанные с социальными механизмами. Между тем, до семидесятых годов могло показаться, что «пророчество» Винера не оправдалось, и что кибернетика стала «грамматикой» лишь современной техники регулирования, но не биологии.

## 20. Роль обратных связей и регулирующих контуров в объяснении биологических явлений

Теперь мы можем указать место Хайека на «шкале» социологических взглядов. На него совсем не повлияла современная биология, за развитием которой он вряд ли следил. Не чувствуется у него и влияния психоанализа: он, по-видимому, воспитан на философии позитивизма и сильно переоценивает роль рационального начала в общественной жизни, о чем еще будет речь. Идеи эволюции ему чужды, о происхождении человека он не думал; но общий шаблон «борьбы за существование» в стиле Спенсера он, по-видимому, усвоил в молодости, в эпоху «социал-дарвинизма». Наконец, идеи кибернетики повлияли на него только на уровне «теории систем», то есть он усвоил представления «технической кибернетики» о сложных системах.

Но в последние годы стало очевидно, что «пророчество» Винера было верно. Решающая роль обратных связей и регулирующих контуров в объяснении

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
биологических явлений гэх Грегори Бейтсона [G. Bateson Steps to an Ecology of Mind (Этапы экологии психики), New York: Balantine books 1972; Mind and Nature (Природа и разум), Macmillan Club Edition, 1979]. Для нашей цели важны следующие биологические идеи.

1. Наследственность человека, определяющая его важнейшее видовое отличие от всех других животных, является результатом взаимодействия двух систем: системы генетической наследственности и системы культурной наследственности. Вне этого взаимодействия не возникает ни индивид, ни сообщество индивидов.

2. Каждый человек принадлежит некоторой культуре, первым признаком которой является родной язык. Культура, с ее традицией, определяет поведение человека. Распад культуры означает распад упорядоченного поведения людей этой культуры. История культуры моделируется историей видов и подвидов, причем в очень сильном смысле: те и другие явления можно считать частными случаями общих биологических закономерностей.

3. Система инстинктов, стимулирующих и ограничивающих поведение человека, сложилась в доисторические времена, не позже чем в эпоху палеолита. Происшедшие с тех пор изменения этих инстинктов можно считать в социологическом аспекте достаточно малыми по сравнению с культурными изменениями. Никакие культурные влияния не могут подавить действие инстинктов, но могут в той или иной степени влиять на форму их проявления.

4. Специфически человеческими инстинктами, в своем конкретном действии, являются:

(а) Инстинкт внутривидовой агрессии. У человека сильно ослаблены корректирующие его инстинкты, охраняющие собратьев по виду и предотвращающие их убийство. Ослаблены также инстинкты, охраняющие женщин и детей. Функции этих в значительной степени выпавших инстинктов приняли на себя механизмы культурной традиции.

Сила действия инстинкта внутривидовой агрессии по отношению к членам «чужой» группы возросла; она умеряется остаточным корректирующим инстинктом и механизмами культурной традиции, зависящими от местных обстоятельств.

Специфические для человека изменения инстинкта внутривидовой агрессии и сопутствующих ему корректирующих инстинктов объясняются, по-видимому, групповым отбором на агрессивность к «чужим», то есть членам других племен.

## 21. Инстинкт внутривидовой солидарности

Все изложенное до сих пор представляет общепринятые взгляды современной биологии. Теперь мы перейдем к рассмотрению еще одного инстинкта, который является гипотетическим. Его постулировали многие авторы и до, и после возникновения этологии. Лоренц не говорит о нем в решительной форме, но многие места в его книгах свидетельствуют о том, что он допускал действие этого инстинкта – инстинкта социальной солидарности у человека. В пользу такого предположения говорит огромное число приводимых им примеров «солидарности», взаимной поддержки и даже совместной деятельности у различных видов. Во всех этих случаях «солидарность» животных имеет явно инстинктивный характер, в том числе у приматов. Было бы странно, если бы подобный инстинкт отсутствовал у человека. Далее, Лоренц много раз подчеркивает специфически человеческие реакции на поведение «асоциальных паразитов» (имея в виду особую разновидность таких паразитов – уголовных преступников). Сопоставление этих высказываний не вызывает сомнения, что он допускал врожденный, то есть инстинктивный характер этих реакций; достаточно сослаться на сочувственно цитируемые им слова Гёте «о праве, что родится с нами». На вопрос, почему великий биолог не сформулировал свою точку зрения так же решительно, как в других случаях, можно дать вполне убедительный ответ. Лоренц собирался написать второй том «Оборотной стороны зеркала», специально посвященный патологии человеческого общества. Можно думать, что этот весьма деликатный вопрос, способный раздражить всех гусей без перьев, он включил бы во второй том. То, что второй том «Зеркала» не был написан, – это, поистине, несчастье для культурного человечества.

Я позволю себе добавить к рассмотренному выше пункту (а) еще один (гипотетический) пункт, никоим образом не претендуя на приоритет, но принимая на себя ответственность за выводы, которые я делаю из моей гипотезы:

(б) Инстинкт внутривидовой солидарности. У человека этот инстинкт был

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) направлен сначала только на членов «малой группы», состоящей из родственников и близких знакомых, но был «глобализован», то есть перенесен на членов «своего» племени. Дальнейшая глобализация этого поведения стимулируется уже не генетической, а культурной традицией. Неясно, что в настоящее время заменяет «племя»: действие инстинкта постепенно ослабевает по мере удаления от «малой группы». Можно думать, что инстинктивный механизм солидарности действует как открытая программа, включаемая (или нет) механизмами культурной традиции. Эта традиция «говорит» индивиду, когда надо относиться к другому человеку, «как если бы он был одного племени с ним» [Вспомните заклинание из «Маугли»: «Мы одной крови, ты и я».] .

Инстинкт внутривидовой солидарности – такой же продукт группового отбора, как «усиленный» (человеческий) инстинкт внутривидовой агрессии. Он происходит, точно так же, от безжалостного группового отбора, уничтожавшего целые племена. Чтобы племя могло выжить, оно должно было стать крайне агрессивным по отношению ко всем «чужим». Но в то же время оно должно было выработать внутреннюю сплоченность, из которой возникли в ходе «глобализации» все «моральные правила» – то есть, на языке нашей традиции, «любовь к ближним». Путь к этому шел через бесконечные войны, истребление племен и каннибализм. Надо ли этому удивляться после того, что мы знаем об инстинкте внутривидовой агрессии и обо всем, что выработал из него индивидуальный отбор? Ведь отсюда произошло узнавание индивида – то есть личность, – а затем дружба и любовь.

Таковы пути эволюции, очень далекие от назидательных мифов наших предков. Поистине, можно сказать: *Ex odio amor!* [Из ненависти – любовь (лат.).]

## 22. Заключение: постоянство морали

Вернемся теперь к профессору Хайеку. Он не хочет считаться с природой человека, как культурного существа. В указателе его книги нет слова «культура»; есть «культурная эволюция», о которой он говорит на соответствующих страницах несколько банальностей. Но человек не существует вне культуры; что же такое, по отношению к культуре, «расширенный порядок»? Поскольку Хайек предполагает, что люди вокруг нас живут в этом «порядке», то, по-видимому, «расширенный порядок» есть некоторая фаза в развитии «западной культуры». Легко понять, что люди другой культуры вряд ли смогут жить при капитализме – во всяком случае, без адаптации в течение нескольких поколений, то есть без перемены своей культуры. Мы в России как раз находимся в таком положении.

Стало быть, «моральные правила», при которых может существовать «расширенный порядок» – это традиции западной культуры, хотя бы в юридической форме ее законов (и, что более важно, способность их соблюдать). Ясно, что эти «правила» несут исторический характер и соблюдаются вследствие воспитания, которое отнюдь не случайно. Традиция, в которой они могут усваиваться и соблюдаться, неразрывно связана с ценностями культуры. Даже небольшое различие в основных ценностях не дает возможности вкладывать капиталы в России. Коротко говоря, люди соблюдают законы потому, что эти законы говорят то же, чему их учили в детстве. Именно поэтому законы приходится называть моральными правилами, вводя в «экономическую машину» совершенно чуждый ей архаизм. Но если эти законы поддерживаются традиционной «моралью», то возникает вопрос, что это за «мораль»? Оказывается, что это, удивительным образом, та же мораль, какая была у индейцев, у папуасов, у всех еще не тронутых цивилизацией примитивных племен. Подчеркнем еще раз: если не считать местных вариантов, это была и есть одна и та же мораль; а варианты сводятся к тому, что ее полагается применять к членам «своего» племени – того или другого.

Как мы уже знаем, это удивительное постоянство морали коренится в инстинкте социальной солидарности. Значит законы соблюдаются в конечном счете потому, что они выражают этот инстинкт. Присмотримся же к этому инстинкту. Он в самом деле имеет своим содержанием общественную мораль (или этику: мы не различаем эти понятия). Но мораль значительно шире законов. Закон должен иметь корни в морали; но многое из того, что считается аморальным, не вызывает санкций закона. Все мы знаем, что можно быть отпетым негодяем и иметь всех судей и прокуроров на своей стороне.

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Величайшая нравственная проблема относится как раз к тем ужасным поступкам, которые не подходят ни под какой закон. Верующие это, во всяком случае, знали, и если мы уже не всегда это знаем, то вся наша культура дышит на ладан.

Среди моральных эмоций нашей культуры важное место занимает отвращение к асоциальным паразитам, о чем уже была речь. Мы знаем уже, что это отвращение инстинктивно, и что выработал этот инстинкт групповой отбор, доставивший преимущества более сплоченным племенам. Инстинкт невозможно подавить; иногда удается ему дать ложное направление. Американский средний класс, кондиционированный своей культурой, по-видимому, нечувствителен к паразитизму «высшего класса», пожирающего лучшую часть общественного пирога, и направляет свой древний инстинкт против несчастных, получающих государственные пособия. Но инстинкт все тот же, он никуда не делся! Более того, подсознательно средний класс все-таки ненавидит финансовых воротил, так ловко уклоняющихся от налогов, и связанную с ними бюрократию. Ненавидит их как бездельников и ловкачей, живущих за его счет. Пока продолжается нынешнее благополучие, эта подспудная ненависть находит себе компенсирующие объекты. Но благополучие не вечно, ему придет конец: в третьей части я расскажу, почему[40]. Выше я уже подробно объяснил, почему не нравится капитализм интеллигенту. Ну, а рабочий теперь часто входит в средний класс; а если не входит, то его антипатия к богатым и сильным не нуждается в комментариях. Чуть что, этот человек из гетто готов громить магазины и бить полицейских.

Бациллы социализма живы даже в Соединенных Штатах, где это слово – почти неприлично. Но я уверен, что читатель уяснил себе, какие источники питают социализм, и понял, почему эти источники нельзя перекрыть. Социализм снова и снова будет выходить наружу, хотя бы в виде простой эмоции; а если дела пойдут хуже, то эти эмоции снова организуются и превратятся в политический факт. Но тут навстречу социалистам выйдет профессор Хайек или кто-нибудь из его учеников и произнесет нравоучительную речь:

«Общество, в котором мы живем, не вполне справедливо. Теперь, когда дела пошли хуже, приходится это признать. Есть люди, умеющие извлекать выгоды из общественных бедствий. Не все предприниматели и банкиры – хорошие люди. Но что вы предлагаете делать? Есть ли у вас какой-нибудь практический план? Проще всего было бы все отнять у богатых и разделить между бедными. Это может сделать только сильная государственная власть. Ясно, что этой власти придется затем управлять всей хозяйственной жизнью. Вы знаете, что из этого выходит: диктатура и нищета. А строй, при котором мы живем, все-таки лучше. Выгоднее его не трогать, и пусть ловкачи получают свой жирный кусок. Единственное, что вам предлагают, это государственное управление всей жизнью страны. Это и есть социализм. Давайте выберем меньшее зло».

Предположим на минуту, что и в самом деле капитализм – единственный сносный общественный строй. Тогда предыдущая проповедь вполне рациональна, и сторонники Хайека просто не могут понять – чего же эти люди хотят?

Они не знают, чего они хотят. Рациональные доводы вроде приведенных выше – если только они рациональны – имеют глобальный характер. Им говорят, что общество в целом не может быть эффективно, если не уступить в нем ключевые места хищникам и паразитам. Предположим на минуту, что это доказано. Что же из того? Ведь их эмоциями движет инстинкт, а инстинкт локален. Они видят поблизости людей, живущих очевидным образом богато, но не делающих, по их мнению, ничего. Да, они знают, что бесполезно бить стекла и драться с полицией. У них нет аргументов и нет надежды. Но ничто не может подавить их инстинкт, говорящий им: все это несправедливо.

Прав ли этот инстинкт? Действительно ли социальные контрасты, которые они видят, нарушают основные ценности их культуры? Или это всего лишь атавизм, пережиток примитивной «орды», не имеющий оправдания в современном мире?

В чем же состоят ценности современной культуры? Нарушает ли их образ жизни богатых?

к относится к этим ценностям жизнь богатых людей?

И тут обнаруживается ужасный скандал. Это общество стыдится сказать, чего оно на самом деле хочет. Но есть способ это узнать. Ведь у нас есть производство мечты – ТВ. Читается: ти ви. Экран телевизора предлагает американцам картины желательной жизни, перемежаемые ужасами преступления и порока. Оставим эти последние в стороне. Что же остается? За какие мечты американцы выкладывают свои доллары? Они мечтают иметь лучшие вещи и больше вещей. Больше есть, но не толстеть. Больше пить, но не болеть. Получать удовольствия (to have fun), но не заразиться СПИДом. И – самое главное – иметь на счету достаточно долларов, чтобы это длилось всегда. Их ценности – физическое наслаждение, здоровье и безопасность. Если сказать это

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org) американцам, они обидятся, потому что это очевидный материализм. А они слышали, что ценности должны быть, в некотором смысле, духовны.

Я пытаюсь выяснить, какие духовные ценности имеются в виду. Святость. Честность. Милосердие. Трудолюбие. Любознательность. Творчество. Любовь. Если эти ценности свойственны богатым, они не паразиты, а лидеры своей культуры. Нация должна гордиться ими и охотно их содержать. Американцы стыдливо отмалчиваются: оказывается, о занятиях богатых людей нет статистических данных.

И поскольку это воображаемый разговор, у меня пропадает желание дальше воображать. Наконец, я вижу серьезное лицо: это старый индеец из романов Купера, герой моего детства. Он качает головой и объясняет: «Мой бледнолицый брат говорит о том, чего нет»[42].

#### Примечания

1

В цитируемом здесь тексте на последней странице обложки (см. следующее предложение) Хайек назван *ideological mentor of the Reagan and Thatcher "revolutions"* – идеологическим руководителем «революций» Рейгана и Тэтчер. Ниже А.И. Фет называет Хайека «вдохновителем Рейгана и мадам Тэтчер». (А.Г.)

2

См. Hayek F.A. *The Fatal Conceit. The Errors of Socialism*. The University of Chicago Press, 1991. Рус. перевод: Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Изд-во «Новости» при участии изд-ва "Catalaxy", 1992. (Л.П.)

3

В русском переводе книги Хайека выражение *several property* передано словосочетанием «индивидуализированная собственность». Переводчики оговариваются, что точный перевод вряд ли возможен. (А.Г.)

4

Эта книга, вместе с двумя другими сочинениями К. Лоренца – «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» и «Так называемое зло» – уже дважды издавалась по-русски в переводе А.И. Фета: в сборнике «Оборотная сторона зеркала», М., «Республика», 1998, и в сборнике «Так называемое зло», М., «Культурная революция», 2008. (Л.П.)

5



6

В книге Хайека имеется особое «добавление» (Appendix E) об играх, занимающее, впрочем, всего полстраницы. В этом добавлении говорится, что процессы, в результате которых «сам собой» устанавливается «расширенный порядок», имеют много общего с играми. При этом Хайек ссылается на классическую книгу выдающегося голландского историка Йохана Хейзинга о роли игр в становлении цивилизации «Homo Ludens» (Человек играющий) (Huizinga J., Homo ludens: Proeve eener bepaling van spel-element der cultuur. Haarlem, 1938. Русский перевод: Хейзинга Й., Homo ludens: Опыт определения игрового элемента культуры. \ Хейзинга Й., Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.), не приводя, однако, каких-либо доводов в пользу своего утверждения о сходстве интересующих его процессов с играми. (А.Г.)

7

Выражение *more geometrico* – очевидная аллюзия к книге Спинозы “*Ethica more geometrico demonstrata*” («Этика, доказанная геометрическим способом»; «геометрическим способом» означает здесь «так, как делается в геометрии»), представляющей собой самую известную попытку применения методов рассуждения, принятых в дедуктивных науках, к материалу, в принципе не поддающемуся формализации. Древнегреческие мыслители, насколько мне известно, таких попыток не предпринимали. Однако этот вопрос не имеет, как мне представляется, прямого отношения к анализу книги Хайека. (А.Г.)

8

Дж. Ст. Милль, глубокий и разносторонний мыслитель, наиболее известный благодаря своим трудам по логике и политической философии, но занимавшийся также и политической экономией, писал за полтора года до выхода книги Хайека: «Политическая экономия ставит себе задачу показать, каково должно бы было быть поведение людей, если бы оно полностью определялось стремлением к богатству. Конечно, ни один политико-эконом не был настолько безрассуден, чтобы полагать, будто природа людей в самом деле такова; но этого предположения требовал тот метод, какому необходимо должна следовать наука.» (Дж. С. Милль, Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. М., 1900, с. 729.) Хайек был автором книги о Милле (она входит в собрание его сочинений, первый том которого – книга о заблуждениях социализма), что делает его безрассудность особенно удивительной. (А.Г.)

9

Здесь автор допускает неточность. Мещане составляли низшее городское сословие, куда входили, независимо от рода занятий, все вообще свободные

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
(не являвшиеся крепостными) городские жители, кроме дворян, духовенства, чиновников и купцов (купцы составляли отдельное сословие). Для мещан, многие из которых промышляли мелочной торговлей, была характерна узость интересов, из-за чего слово «мещанин» уже во времена Герцена приобрело презрительный оттенок. (А.Г.)

10

Об этой связи писал выдающийся русский историк Р.Ю. Виппер в статьях, вошедших в изданную в 1918 г. книгу «Гибель европейской культуры». (А.Г.)

11

Эта мысль была близка многим современникам тех событий. Вспомним, что писала о 1914 году Ахматова: «Начинался не календарный, настоящий двадцатый век». (А. Г.)

12

См. Schweitzer A. Verfall und Wiederaufbau der Kultur (1923), Kultur und Ethik (1923), in: Albert Schweitzer, Ausgew. 1971. Рус пер.: Швейцер А. Культура и этика, М., Прогресс, 1973, где 1 часть – Распад и возрождение культуры, 2 часть – Культура и этика. (Л.П.)

13

См. Saint-Exupéry A. La Citadelle, Editions Gallimard, Paris, 1948. Рус. пер. фрагментов из Цитадели см. в: Сент-Экзюпери А. де. Сочинения. М., Художественная литература, 1964. (Л.П.)

14

См. окончание романа А. Франса «Суждения господина Жерома Куаньяра», 1893. (Л.П.)

15

В журнале Edinburgh Review (Эдинбургское обозрение) с 1825 по 1844 г. Маколей опубликовал 27 эссе. А.И. читал их в книге Lord Macaulay's Essays, London, Longmans, Green and Co., 1885 (л.п.)

16

Это утверждение нуждается в уточнении. Во-первых, тезис Поппера, на который ссылается автор, относится не к «доказательству невозможности явления», а к опровержению гипотезы. Во-вторых, для опровержения гипотезы одного противоречащего ей факта недостаточно. На этом особенно настаивал Лоренц, который был прежде всего естествоиспытателем и постоянно пользовался гипотезами как рабочим инструментом. В книге «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» (гл. 8) он писал: «Иногда считают – это заблуждение распространено также и среди специалистов по теории познания, – будто гипотеза может быть окончательно опровергнута одним или несколькими фактами, которые не удается с ней согласовать. Если бы это было так, то все существующие гипотезы были бы опровергнуты, потому что вряд ли найдется среди них хоть одна согласная со всеми относящимися к ней фактами. <...> Гипотеза никогда не опровергается единственным противоречащим ей фактом; опровергается она лишь другой гипотезой, которой подчиняется больше фактов.». Поэтому констатацию роста преступности правильнее рассматривать не как окончательное доказательство неизбежности краха капитализма, а лишь как один из многих доводов в пользу такого предсказания. (А.Г.)

17

Это верно только в отношении млекопитающих. Инстинкт внутривидовой агрессии существует также у многих птиц, и как раз не хищных. (См. главу 11 книги Лоренца «Так называемое зло».) (А.Г.)

18

См. главы 11 и 13 той же книги. (А.Г.)

19

Об этом свидетельствует, например, «Одиссея», где раб-свинопас Эвмей обедает за одним столом с господином. (А.Г.)

20

Об этом писал Р.Ю Виппер в статье «Соль земли». (А.Г.)

21

Эта гипотеза, выдвинутая американским лингвистом Н. Хомским, представляется маловероятной. Теоретические конструкции, на которых она основана, фактически жестко привязаны к грамматике английского языка, и делать из них выводы относительно всех языков мира нет никаких оснований. (А.Г.)

22

Впервые Абсолютное Зло появилось за несколько веков до возникновения христианства в зороастризме, но влияние этой религии никогда не выходило за пределы Ирана. (А. Г.)

23

Это утверждение неверно. В Аттике была сложная и строго формализованная система законов. (А.Г.)

24

Слово «вера» употреблено здесь в другом значении, не связанном с «напряженным ожиданием» (и приблизительно совпадающим с значением слова «доверие»). (А.Г.)

25

Курсив мой. (А.Г.)

26

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)

Попытка А.И. Фета реконструировать первоначальный смысл данного места Нагорной проповеди представляется весьма интересной, но категоричность, с которой он объявляет используемый им перевод «точным» (см. две следующие сноски), нельзя считать оправданной. Абсолютно точный перевод столь сложного текста, допускающего различные толкования, вообще невозможен. Реконструкции, производимые на основе перевода, сильно проигрывают в убедительности по сравнению с производимыми на основе подлинника. (А.Г.)

27

Это утверждение нуждается в уточнении. Сократ у Платона часто упоминает о некоем боге, чьим повелениям он повинует, но наряду с этим богом (которому не дает никакого имени) много раз упоминает богов греческого пантеона, в существовании которых не сомневается, так что говорить о монотеизме Сократа (или Платона) нет оснований. Что касается загробной жизни, то в пересказанном (или сочиненном) Платоном последнем слове Сократа на судебном процессе (см. платоновскую «Апологию Сократа») он выражает сомнение в ее существовании, но в диалоге «Федон», представляющем собой пересказ предсмертной беседы Сократа с учениками (при которой Платон не присутствовал) никаких следов такого сомнения нет. (А.Г.)

28

Это неверно. Римляне занимались военной техникой. Римские осадные машины были столь совершенны, что во второй половине XIX века немецкие военные инженеры воссоздали их по сохранившимся описаниям и рисункам и всерьез думали об использовании их в будущей войне. (А.Г.)

29

Приведенное стихотворение представляет собой выборку отдельных строк из поэмы Шелли "The Masque of Anarchy", написанной в 1819 году в ответ на расстрел демонстрации близ Манчестера. Опубликована Л. Хантом уже после смерти Шелли, в 1832 году. Всего в поэме 91 строфа. А.И. Фет приводит 10 из них: 37–42, 46–48, 91. Есть русский перевод этой поэмы, сделанный К. Бальмонтом («Маскарад анархии», 1904) (Л.П.)

30

Согласно словарю Робера, выражение *exploitation de l'homme par l'homme* (эксплуатация человека человеком) впервые появилось в печати в 1834 г. (А.Г.)

31

м значения, в которых слово употребляется в широком смысле (par extension), могут быть сведены приблизительно к такому: «использовать (что-нибудь или кого-нибудь) в своих целях». Таким же образом разграничиваются значения английского глагола to exploit и русского «эксплуатировать» (оба они заимствованы из французского языка), а также значения соответствующих существительных. Далее А.И. Фет, говоря об эксплуатации, всюду употребляет это слово в узком смысле, кроме одного случая, отмеченного ниже. (А.Г.)

32

Распутать этот невероятный клубок логической путаницы не удалось не только Попперу, но и самому А.И. Фету. (Во всяком случае, я не сумел понять смысл трех предыдущих абзацев, хотя я профессиональный логик.) По-видимому, это в принципе невозможно. Из дальнейшего текста видно, что Маркс попытался разрубить клубок одним взмахом волшебного меча, оказавшегося, однако, недостаточно острым. (А.Г.)

33

Более точно следовало бы сказать «в широком смысле» (А.Г.)

34

Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen / Gewaшивает явившегося к нему злого духа, как его зовут; тот отвечает, что слово не имеет значения, важна только сущность. На это Фауст возражает цитированными словами и древнееврейского Бээль-Зебуб, буквально «Повелитель мух». Первоначально это слово означало «мушиное войско», а впоследствии стало у христиан одним из имен дьявола (отсюда Вельзевул). (А.Г.)

35

Третья часть не была написана. (А.Г.)

36

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Эта формулировка представляет собой кульминацию «Анти-Хайека». Дойдя до нее, автор некоторое время продолжал работу по первоначальному плану, но вскоре ему стало ясно, что исследование вышло за рамки полемики с Хайеком, так что от этого плана нужно отказаться. (А.Г.)

37

Эта проблема подробно освещена А.И. Фетом в книге «Инстинкт и социальное поведение», гл. 3, раздел 4 – «Асоциальные паразиты». (А.Г.)

38

Начало третьей глобализации А.И. Фет относит к 1-му тысячелетию до н. э. Указать время точнее, разумеется, невозможно. (А.Г.)

39

Имеется в виду книга: E. Fromm, "Escape from Freedom". N. Y., 1941. Русский перевод: Э. Фромм, Бегство от свободы. М., 1990. (А.Г.)

40

Книга Г. Бейтсона "Mind and Nature" полностью переведена А.И. Фетом и опубликована Институтом семейной терапии, Новосибирск, 2005. Этот перевод есть на сайте Библиотека Современные проблемы. Из книги "Steps to an Ecology of Mind" А.И. Фет перевел отдельные статьи. (Л.П.)

41

см. сноску \*35 (А.Г.)

42

Такое поспешное окончание книги, по-видимому, показалось А.И. недостаточно убедительным. Он попытался сделать другой вариант завершения и выписал длинную цитату из книги "Law, Legislation and Liberty", где Хайек беспомощно разводит руками перед понятием «социальная справедливость». После этого А.И. потерял к Хайеку всякий интерес и больше к нему не возвращался. Он уже думал над книгой «Инстинкт и социальное поведение».

Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. А.И. Фет [filosoff.org](http://filosoff.org)  
(Л.П.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimeg.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimeg.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!